This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG
3337
.O8
Z655

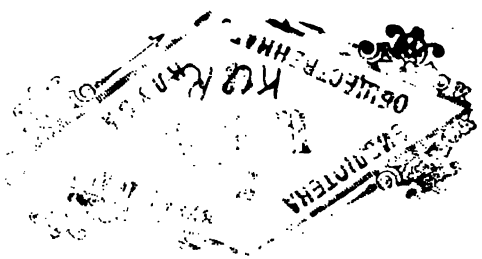
1946

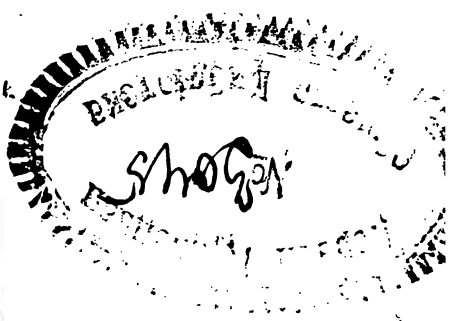
9137
874

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

№ 3045

Moscou.
Librairie. P. F.
Jakovlev.
Rue Kozma-Damianski. Maison
Tchuksine.





А. Н. Островскій.

Ivanov, I. I. 1912 / e

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА.

А. Н. ОСТРОВСКІЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

И. И. Иванова.

Съ портретомъ Островскаго, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ.

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 8.
1900.

PG 3337
O8Z655

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 20 Сентября 1899 года.

СОДЕРЖАНІЕ.

стр.

Предисловіе 5

I. Происхожденіе Островскаго.—Семейная обстановка въ дѣтствѣ и первой молодости.—Казенная служба. 9

II. Начало литературной дѣятельности 13

III. Друзья и вдохновители Островскаго 18

IV. Міросозерцаніе молодого Островскаго.—Отношенія къ драматургу славянофильской критики 22

V. Первая комедія 26

VI. Офиціальная и литературная судьба первой комедіи Островскаго 30

VII. Матерьяльное положеніе Островскаго.—Бѣдная Невѣста 35

VIII. Появленіе на сценѣ первой комедіи Островскаго.—Отношенія къ нему актеровъ и публики 39

IX. Отношенія театральной дирекціи и цензуры къ произведеніямъ Островскаго 46

X. „Литературная экспедиція“ и участіе въ ней Островскаго.—Вліяніе путешествія на его творчество. 51

XI. Путешествіе Островскаго за-границу.—Намѣреніе порвать съ театромъ 56

XII. Замыселъ Островскаго—преобразовать русское сценическое искусство и его практическая дѣятельность въ этомъ направленіи.—Личныя отношенія Островскаго къ молодымъ писателямъ, артистамъ и издателямъ 61

стр.

XIII. Юбилей литературной дѣятельности Островскаго.— Ея новое направленіе 68

XIV. Вліяніе реформъ шестидесятыхъ годовъ на творчество Островскаго.—Типы интелигенціи 74

XV. Литературная дѣятельность Островскаго въ семидесятыхъ годахъ 78

XVI. Участіе Островскаго въ празднествахъ по случаю открытія памятника Пушкину.—Послѣднія произведенія Островскаго 83

XVII. Островскій на театральной службѣ, его болѣзнь и смерть 87

XVIII. Общій взглядъ на литературную дѣятельность Островскаго 90

XIX. Общественный смыслъ творчества Островскаго . . . 94

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Скудость и неопредѣленность біографическихъ свѣдѣній — обычное явленіе въ русской литературѣ—относительно крупныхъ и мелкихъ писателей. На этотъ счетъ русскіе читатели нерѣдко бываютъ свидѣтелями едва вѣроятныхъ приключеній, постигающихъ отечественную печать. Особенно должны быть памятны случаи по поводу недавней пятидесятилѣтней годовщины смерти Лермонтова. Во множествѣ «юбилейныхъ» воспоминаній и біографическихъ очерковъ безпрестанно встрѣчались недоразумѣнія и ошибки, казалось бы, совершенно невозможныя въ вопросахъ о поэтѣ текущаго столѣтія. Родственникъ и товарищъ Лермонтова, предпринимая исправленіе чужихъ ошибокъ, обнаружилъ поразительное невѣдѣніе самыхъ существенныхъ біографическихъ данныхъ, — не зналъ ни мѣста, ни времени рожденія поэта. Другой біографъ съумѣлъ запутать исторически-подлинный разсказъ объ обстоятельствахъ смерти Лермонтова. Даже полвѣка, протекшіе со времени кончины геніальнаго поэта, не могли, слѣдовательно, окончательно устранить своеобразной варварской литературы. И подобные факты возможны въ представленіяхъ русскаго читателя едва-ли не о каждомъ дѣятелѣ русской словесности.

У насъ почти не прививается обычай, столь распространенный на Западѣ. Тамъ въ распоряженіи литературныхъ и общественныхъ историковъ имѣется неисчерпаемый запасъ всевозможныхъ воспоминаній, записокъ, сообщеній, касающихся всѣхъ болѣе или менѣе видныхъ явленій прошлаго. Почитатели и близкіе люди даже второстепенныхъ талантовъ непремѣнно стремятся повѣдать публикѣ исторію своего знакомства съ замѣчательнымъ человѣкомъ, передать современникамъ и потомству его характеристику, часто мельчайшія подробности его жизни. И сами знаменитости не страдаютъ излишней скромностью. Они весьма охотно разрабатываютъ свои біографіи или въ чисто-художественныхъ произведе-

красокъ, въ ней не имѣется какихъ-либо сложныхъ психологическихъ или загадочныхъ романическихъ эпизодовъ. Жизнь драматурга соотвѣтствовала характеру его произведеній—въ высшей степени уравновѣшенному, почти эпическому.

Но внѣшняя одноцвѣтность и равномѣрность существованія далеко не свидѣтельствуютъ о безсодержательности и мелкотѣ его внутренняго смысла. Совершенно напротивъ. Вся энергія богато одаренной природы ушла именно на обогащеніе и углубленіе этого смысла. Художникъ жилъ повышеннымъ нравственнымъ пульсомъ, чутко воспринималъ внѣшній міръ и отзывался на впечатлѣнія личнымъ художественнымъ творчествомъ.

Именно у писателя-реалиста эти воспріятія должны быть особенно обильны и глубоки. Каждое его произведеніе навѣяно и внушено явленіями дѣйствительности. Каждое лицо, имъ созданное—плодъ непосредственныхъ наблюденій и драматизмъ положеній его героевъ почерпнутъ изъ многообразныхъ житейскихъ драмъ, психологически изученныхъ и творчески воспроизведенныхъ художникомъ. Легко представить, какое значеніе, при такихъ условіяхъ, имѣетъ иная даже случайная встрѣча писателя съ фактомъ или съ человѣкомъ, исторія его личныхъ отношеній и даже повседневныхъ впечатлѣній.

Все это какъ нельзя ближе относится къ Островскому. Онъ по самому содержанію своего творчества, русско-бытовому и типично-жизненному, долженъ былъ на каждомъ шагу имѣть дѣло съ *подлинниками*, т. е. съ живыми яркими лицами, своей самобытностью одушевлявшими его умъ и талантъ. И мы знаемъ, какими сокровищами психологіи и драмы обязанъ Островскій личнымъ знакомствамъ и встрѣчамъ,—но знаемъ, къ сожалѣнію, крайне недостаточно. Болѣе или менѣе подробныя наши свѣдѣнія касаются только ранняго періода дѣятельности Островскаго,—и уже по этимъ свѣдѣніямъ мы можемъ судить о богатствѣ *духовной* жизни писателя, о неразрывной связи его творчества съ окружающимъ міромъ. Эта связь не прекращалась до конца, и именно она сохранила за Островскимъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ новой русской литературѣ. Но у насъ нѣтъ опредѣленныхъ данныхъ—прослѣдить ее исторически и всесторонне оцѣнить ея вліяніе на нравственный міръ художника. Мы не знаемъ фактовъ, вызвавшихъ у него тотъ или другой творческій процессъ, и не можемъ установить, съ какой полнотой и проницательностью онъ воспользовался уроками дѣйствительности. Ясно, недостатокъ въ нашихъ свѣдѣніяхъ долженъ *отражаться* и на нашей оцѣнкѣ самаго таланта драматурга. Кра-

тика можетъ быть вполнѣ удовлетворительной и опредѣленной только при тщательно разработанной *біографіи*.

Время, несомнѣнно, пополнитъ много пробѣловъ въ біографіи Островскаго. Именно послѣдніе годы даютъ намъ право питать эту надежду. Съ 1897 года въ печати стали появляться въ высшей степени цѣнныя сообщенія лицъ, близко стоявшихъ къ покойному писателю. Воспоминанія Т. И. Филиппова и С. В. Максимова яркимъ свѣтомъ освѣтили начало литературной работы Островскаго и представили правдивую и жизненную картину обстановки и сцены, гдѣ предстояло рости и совершенствоваться этой работѣ, нарисовали рядъ личностей, глубоко повліявшихъ на молодого писателя. Въ настоящее время мы знаемъ первые литературные шаги Островскаго несравненно полнѣе, чѣмъ они были извѣстны его біографу А. Е. Носу. Мы теперь опредѣленно можемъ судить о *средѣ* и *обстоятельствахъ*, воспитывавшихъ ранніе задатки художественнаго дарованія, и въ состояніи дать исторически-точный отвѣтъ на первый и важнѣйшій вопросъ въ критикѣ произведеній Островскаго: почему нашъ драматургъ *началъ необыкновенно*, по выраженію Тургенева, т. е. въ первой же пьесѣ обнаружилъ небывалое до него знаніе московскаго купеческаго и народнаго быта, идеальное умѣнье владѣть своеобразнымъ русскимъ языкомъ и воспроизводить съ одинаковымъ художественнымъ совершенствомъ крупныя и мелкія черты русской натуры?

Драматургъ, очевидно, прошелъ извѣстный путь воспитанія, внушительную житейскую школу,—и намъ его друзья разсказали, какую именно.

Если бъ и вся дальнѣйшая дѣятельность Островскаго стала предметомъ такихъ же разсказовъ, его біографъ не имѣлъ бы основаній жаловаться на трудность и черновой, пробный характеръ своей работы. Теперь ему предстоитъ возстановлять цѣльную исторію жизни на основаніи отрывочныхъ замѣтокъ, вродѣ воспоминаній артистовъ Бурдина, Горбунова и Нильскаго, разсказовъ личнаго секретаря Островскаго—Кропачева—живыхъ и правдивыхъ, но касающихся только послѣднихъ лѣтъ его жизни и кромѣ того совершенно оставляющихъ въ сторонѣ Островскаго-писателя, наконецъ—собственныя письма драматурга. Довольно многочисленны письма къ Бурдину и къ г-жѣ Мысовской, но они даютъ очень мало матерьяла для біографіи автора и вообще не отличаются содержательностью и обиліемъ личныхъ изліяній и признаній, столь всегда краснорѣчивыхъ для характеристики писателя и человѣка. Важнѣйшимъ *общимъ* біографическимъ источникомъ

остается, конечно, замѣтка самого Островскаго въ альбомѣ Семевскаго «*Мои знакомые*» —замѣтка въ высшей степени немногословная, напоминающая краткіе послужные списки, какіе давали Тургеневъ и Писемскій своимъ біографамъ.

Такимъ матерьяломъ располагаемъ мы для біографіи Островскаго. Очевидно, его біографія — въ ея совершенной формѣ— вопросъ будущаго. Въ настоящее время мы въ состояніи освѣтить болѣе или менѣе яркимъ свѣтомъ только нѣкоторые моменты въ творческой жизни нашего писателя и, насколько возможно при осмотрительномъ и исчерпывающемъ пользованіи немногочисленными документами, представить болѣе или менѣе послѣдовательный ходъ творческой дѣятельности художника и нарисовать по возможности подлинными чертами личность человѣка.

Мы будемъ считать нашу задачу выполненной, если отъ насъ не ускользнетъ ни одно цѣнное историческое указаніе и если намъ удастся каждому изъ этихъ указаній отвести надлежащее мѣсто и въ результатѣ получить цѣльное, хотя бы и весьма общее, представленіе о человѣческой и авторской природѣ одного изъ знаменитѣйшихъ русскихъ писателей.

I.

Предки Островскаго принадлежали къ духовному сословію и были костромичи. Писатель не забывалъ о своемъ мѣстномъ происхожденіи и при случаѣ любилъ припомнить нравственныя черты, отличающія его земляковъ. Работая надъ драматической хроникой *Косьма Захарьичъ Мининъ* и разбирая историческіе акты, Островскій обратилъ вниманіе на *рязанскій* характеръ Прокопія Ляпунова и такъ сравнилъ этого героя съ другимъ—костромскимъ—Иваномъ Сусанинымъ:

— Эти рязанцы по природѣ уже таковы, что какъ нѣмцы безъ штуки и съ лавки не свалятся. Вѣдь, вотъ нашъ костромичъ, Сусанинъ, не шумѣлъ: выбралъ время къ ночи, завелъ враговъ въ самую лѣсную глушь, тамъ и погибъ съ ними безъ вѣсти, да такъ, что до сихъ поръ историки не кончили еще спора о томъ, существовалъ ли еще онъ въ самомъ-то дѣлѣ на бѣломъ свѣтѣ. А Прокопію Ляпунову понадобилась веревка на шею, чтобы растрогать: и вовсе въ этой штукѣ не было нужды. Актерская жилка у всѣхъ рязанцевъ прирожденная....

Первый изъ родичей Островскаго переѣхалъ въ Москву ещ

дѣдъ. Онъ овдовѣлъ въ санѣ протоіерея одной изъ костромскихъ церквей, постригся въ Московскомъ Донскомъ монастырѣ и умеръ въ преклонныхъ лѣтахъ, напутствуемый высокимъ уваженіемъ монастырской братіи. Старшій изъ его шестерыхъ дѣтей—Николай Ѳедоровичъ былъ отцомъ знаменитаго писателя. Онъ измѣнилъ семейнымъ преданіямъ и, по окончаніи курса сначала въ духовной костромской семинаріи, потомъ въ московской духовной академіи, поступилъ на гражданскую службу, въ канцелярію общаго собранія московскихъ департаментовъ Сената. Двадцати четырехъ лѣтъ, въ 1820 году, онъ женился на дочери просвирни и 31 марта 1823 года у молодыхъ супруговъ родился третій сынъ, названный Александромъ. Ему шелъ всего девятый годъ,—мать его скончалась и на рукахъ отца осталась многочисленная семья—изъ шести человѣкъ малолѣтнихъ дѣтей.

Воспитаніемъ ихъ раньше занималась исключительно мать: отецъ былъ поглощенъ службой и труднымъ добываніемъ средствъ. По смерти жены онъ воспитаніе дѣтей поручилъ студенту Виѳанской семинаріи—и этотъ учитель подготовилъ Александра Николаевича къ поступленію въ гимназію. Въ прошеніи о принятіи сына въ число учениковъ московской губернской (нынѣ первой) гимназіи отецъ заявлялъ, что его двѣнадцатилѣтній сынъ—«по россійски писать и читать умѣетъ и первыя четыре правила ариѳметики знаетъ». Поступленіе состоялось въ сентябрѣ 1835 года,—и пять лѣтъ спустя Островсвій получилъ аттестатъ съ правомъ поступить въ университетъ безъ предварительнаго испытанія. Александръ Николаевичъ подалъ прошеніе о зачисленіи его въ студенты юридическаго факультета.

Въ это время отецъ его былъ женатъ вторично, заслужилъ дворянское достоинство, выхлопоталъ внесеніе своей семьи въ дворянскую родословную книгу Московской губерніи и въ годъ поступленія сына въ университетъ оставилъ государственную службу и сталъ заниматься ходатайствами по гражданскимъ дѣламъ. Вѣроятно, это обстоятельство повліяло и на выборъ сына—именно юридическаго факультета. Ни въ гимназіи, ни въ университетѣ Островскій не обнаружилъ выдающихся способностей къ наукѣ, въ гимназіи курсъ окончилъ девятымъ изъ двѣнадцати, въ университетѣ на первомъ курсѣ оказалъ успѣхи не выше хорошихъ, и уже на второмъ окончилось ученое поприще будущаго драматурга. Островскій оставилъ университетъ, не подвергаясь переходному *испытанію—документально* «ради службы», въ дѣйствительности—*вслѣдствіе недоразумѣнія* съ однимъ изъ профессоровъ. Ему пред-

стояло теперь проходить обширную школу жизни, несравненно болѣе отвѣтственную и благодарную для его прирожденныхъ наклонностей. Школа открылась немедленно за порогомъ университета,—въ сущности послѣдовало только продолженіе житейской науки. Островскій еще раньше успѣлъ познакомиться съ ней. Отцовская чиновничья служба и впослѣдствіи адвокатская практика вводили сына въ крайне пестрый и своеобразный кругъ московскихъ нравовъ. Дореформенный строй жизни проходилъ предъ наблюдательнымъ взоромъ юноши—во всемъ богатствѣ и яркости своихъ героевъ и фактовъ. И несомнѣнно,—въ его воображеніи съ теченіемъ времени постоянно складывались фигуры и эпизоды, какими ему предстояло воспользоваться для своихъ раннихъ произведеній.

Въ сентябрѣ 1843 года Островскій зачисленъ канцелярскимъ служителемъ въ Московскій совѣстный судъ. Учрежденный при Екатеринѣ II, этотъ судъ вѣдалъ гражданскія дѣла, по которымъ тяжущіеся могли согласиться разрѣшить свой споръ мировымъ соглашеніемъ по совѣсти. Уголовныя дѣла, подлежавшія совѣстному суду, возникали по жалобамъ родителей на дѣтей, касались преступленій, совершенныхъ малолѣтними и глухонѣмыми или вызванныхъ особенно неблагопріятными обстоятельствами. Наконецъ, вообще всѣ гражданскіе споры между родителями и дѣтьми обязательно разбирались въ совѣстномъ судѣ. Легко представить, сколько свѣдѣній даже въ короткое время могъ пріобрѣсти будущій драматургъ о семейныхъ и общественныхъ условіяхъ народнаго и купеческаго быта. Въ особенности старая русская семья должна была открыть Островскому множество затаенныхъ уголковъ своей жизни, съ трудомъ доступныхъ наблюденію посторонняго человѣка. Читая жалобы сторонъ, выслушивая «совѣстныя» показанія обвиняемыхъ и обвинителей, молодой чиновникъ какъ нельзя болѣе входилъ въ самобытный сокровенный міръ простыхъ людей, прислушивался къ ихъ рѣчи, вдумывался въ ихъ нравственныя воззрѣнія, запоминалъ рѣзкія оригинальныя черты отдѣльныхъ личностей, выработанныя жестокимъ семейнымъ и общественнымъ строемъ дореформенной Руси

Больше двухъ лѣтъ продолжалась служба Островскаго въ совѣстномъ судѣ,—въ концѣ 1845 года онъ поступаетъ въ канцелярію Московскаго коммерческаго суда, по первому отдѣленію въ «словесный столъ». Жалованье полагалось по усмотрѣнію начальства, и начальство соблагоразсудило назначить его Островскому въ размѣрѣ 4 рублей въ мѣсяцъ,—меньше, чѣмъ полагалось по табели—5 рублей 62½ коп. При такомъ вознагражденіи Островскій, разу-

мѣется, продолжалъ оставаться въ полной матерьяльной зависимости отъ отца. Единственное цѣнное пріобрѣтеніе, какое онъ могъ извлечь изъ своей службы, было все то же изученіе московскаго мѣщанскаго и купеческаго быта. Засѣдая въ «словесномъ столѣ», Островскій долженъ былъ знакомиться съ дѣлами о торговой несостоятельности, вникать во всевозможные хитроумные способы банкротства, до тонкости изучать купеческіе обходы законовъ, уловки съ кредиторами. Все это вскорѣ оказало ему великую услугу, снабдивъ неисчерпаемымъ запасомъ фактовъ и типовъ для художественнаго творчества. Отцовская адвокатская практика также оказала будущему писателю не малую пользу. Практика эта развивалась преимущественно среди московскаго купечества и шла съ большимъ успѣхомъ. Островскій-отецъ успѣлъ пріобрѣсти домъ, содержалъ семью и давалъ средства старшему сыну.

Самая мѣстность, гдѣ протекло дѣтство и первая молодость Островскаго, вполнѣ соотвѣтствовала его житейскимъ опытамъ и наблюденіямъ. Сначала семья жила въ замоскворѣчьѣ, потомъ въ столь же захолустной и самобытной части города — у Николы въ Воробьинѣ. Обывателей здѣсь окружала въ полномъ смыслѣ старозавѣтная Москва, почти не тронутая вѣяніями европейскихъ порядковъ. Пустынныя улицы, патріархальная жизнь въ домикахъ-особнякахъ, безъ всякаго замысловатаго комфорта, безъ звонковъ и швейцаровъ. Охрана обывательскаго имущества поручалась будочникамъ, совершенно идиллически смотрѣвшимъ на свои обязанности, и сами обыватели прекрасно сживались съ своими первобытными стражами, не предъявляя непосильныхъ запросовъ ихъ бдительности и усердію.

Домъ Островскаго стоялъ среди пустыря по сосѣдству съ знаменитыми въ старину серебряными торговыми банями. Мѣстность была до такой степени уединенна, а нравы—просты и откровенны, что изъ оконъ жилища Островскаго можно было видѣть самыя смѣлыя бытовыя картины: изъ бани выскакивали люди, только что запарившіеся до одурѣнія, и принимались валяться въ снѣгу. Противъ дома находилась полицейская будка съ беззубымъ полицейскимъ стражемъ, обладателемъ неуклюжей допотопной алебарды, большимъ пріятелемъ окрестныхъ обывателей и великимъ любителемъ веселой компаніи и крѣпкаго безмятежнаго сна.

Все это безвозвратно отошло въ исторію Москвы, и нашъ писатель засталъ всѣ эти прелести вѣковой старины уже на закатѣ. Новая жизнь надвигалась и на московскія захолустья, въ ближайшемъ будущемъ она грозила смести съ лица земли ископаемыхъ ориги-

наловъ, навсегда похоронить и простоту нравовъ, и патріархальность обывательскаго житья-бытья, и наивную безпечность «начальства». Но пока историческая Москва еще жила и для чуткаго творческаго таланта Островскаго было не малымъ счастьемъ видѣть собственными глазами почвенный московскій бытъ. Художнику предстояло открыть русскому обществу новый міръ отечественной дѣйствительности, еще не тронутый литературой,—и этотъ именно міръ втеченіи цѣлыхъ лѣтъ открывалъ своему будущему бытописателю свои тайны, обогащалъ его умъ непосредственными наблюденіями и, можно сказать, невольно толкалъ его на извѣстный писательскій путь. Сама жизнь, день за днемъ сопровождавшая умственное развитіе и практическую дѣятельность Островскаго, давала ему готовую программу художественнаго творчества,—и сѣмена падали на благодарную почву.

Островскій, по природѣ, обладалъ особенной чуткостью къ фактамъ и психологіи именно русской самобытной дѣйствительности. Національные нравственные инстинкты составляли основу личности драматурга, и его взоръ отличался поразительной остротой и проницательностью всюду, гдѣ вопросъ шелъ о современномъ или историческомъ народномъ бытѣ. Принадлежа къ сословію, искони близко стоявшему къ народу, выросшій на полной свободѣ, лицомъ къ лицу съ самой жизнью, не испытавшій никакого внѣшняго гнета и навязчиваго обезличивающаго руководительства «старшихъ» и не по разуму усердныхъ педагоговъ, — Островскій прошелъ самую цѣлесообразную подготовительную школу, какую только можно было представить для будущаго литературнаго Колумба дореформенной купеческой и мѣщанской Россіи.

II.

Литературная дѣятельность Островскаго началась одновременно съ казенной службой. Должностныя обязанности не мѣшали ей. Начинающій писатель врядъ-ли могъ съ особеннымъ усердіемъ прилежать къ канцелярской работѣ. Она интересовала его лишь, насколько представляла матерьялъ для его психологическихъ и художественныхъ задачъ. Чиновничья служба являлась однимъ изъ путей, ведшихъ драматурга въ заповѣдный міръ «темнаго царства», — и въ этомъ отношеніи онъ воспользовался ею очень рано. По его словамъ, уже къ осени 1846 года у него было написано много сценъ изъ купеческаго быта, въ общихъ чертахъ задумана цѣлая комедія и даже набросаны нѣкоторыя сцены.

Содержаніе комедій имѣло непосредственную связь съ канцелярскими опытами Островскаго, какъ чиновника коммерческаго суда и, разумѣется, съ многочисленными наблюденіями московской жизни за предѣлами суда. Комедіи предстояло носить названіе *Банкротъ*. Впослѣдствіи авторъ нашелъ его по разнымъ причинамъ неудобнымъ и замѣнилъ пословицей—*Свои люди сочтемся*. Въ томъ же 1846 году написана небольшая пьеса—*Семейная картина*: это первое—законченное драматическое произведеніе Островскаго, но не оно первымъ появилось въ печати. Девятаго января 1847 года въ газетѣ *Московскій Городской Листокъ* появился драматическій отрывокъ—подъ заглавіемъ *Сцены изъ комедіи «Несостоятельный должникъ» (ожиданіе жениха)*. Надъ отрывкомъ стояло *Явленіе IV* и заключалось въ немъ всего два явленія. Въ окончательно отдѣланной пьесѣ — *Свои люди сочтемся* — они первое и второе явленія третьяго акта, вошедшія въ комедію послѣ незначительныхъ поправокъ. Сцены подписаны иниціалами А. О. и Д. Г.,—слѣдовательно онѣ принадлежали двумъ авторамъ—будущему знаменитому драматургу и его сотруднику, артисту московской драматической сцены—Дмитрію Тарасенкому, по театру—Гореву.

До сотрудничества съ Островскимъ Горевъ успѣлъ написать и напечатать драму *Государь-Избавитель* и нѣсколько лѣтъ позже комедію *Сплошь да рядомъ*. Обѣ пьесы отнюдь не блистали талантливостью, въ настоящее время совершенно забыты и остались только какъ краснорѣчивое свидѣтельство несомнѣннаго факта, что Горевъ не могъ оказать Островскому, какъ писателю, цѣнныхъ услугъ. Но Горевъ и цѣнители его таланта смотрѣли на дѣло совершенно иначе, и Островскому пришлось жестоко поплатиться за мимолетную литературную дружбу съ притязательнымъ драматургомъ. Расплата наступила не тотчасъ послѣ появленія имени Островскаго въ печати. Молодого писателя уже окружала громкая слава, онъ имѣлъ восторженныхъ цѣнителей своего таланта, ему видимо предстояло занять одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ современной литературѣ, — и въ это именно время ему пришлось вести въ высшей степени досадную полемику, отвоевывать свои права на свои же произведенія. Это произошло девять лѣтъ спустя послѣ злополучной авторской подписи подъ фельетономъ *Московскаго Городского Листка*, — пока Островскому предстояло одолѣвать другія препятствія на своемъ только что открывшемся писательскомъ пути.

Съ небольшимъ мѣсяцъ спустя послѣ напечатанія *сценъ*—наступилъ «самый памятный день» въ жизни Островскаго. Такъ самъ писатель называлъ четырнадцатое февраля 1847 года. Въ этотъ день

онъ былъ въ гостяхъ у профессора русской словесности Шевырева. Познакомился Островскій съ профессоромъ, вѣроятно, черезъ своего гимназическаго товарища, учившаго дѣтей у Шевырева. Въ знаменательный вечеръ къ профессору собралось не мало именитыхъ гостей,—среди нихъ знаменитый славянофильскій публицистъ и философъ—А. С. Хомяковъ, талантливый критикъ А. А. Григорьевъ.

Въ присутствіи ихъ Островскій прочиталъ свои драматическія сцены. Шевыревъ, помимо чтенія лекцій въ университетѣ, писалъ критическія статьи и въ ученомъ и солидномъ обществѣ считался главнымъ представителемъ литературной критики. Отъ его впечатлѣній зависѣлъ первый успѣхъ молодого драматурга. Его отзывъ могъ или окрылить его талантъ или въ сильной степени охладить жажду писательской дѣятельности. Приговоръ Шевырева не могъ имѣть рѣшающаго значенія для всего будущаго Островскаго, но именно въ Москвѣ, въ концѣ сороковыхъ годовъ и началѣ пятидесятыхъ слово профессора обладало большимъ литературнымъ авторитетомъ и практическимъ значеніемъ. Оно могло открыть или преградить путь начинающему драматургу къ страницамъ единственнаго московскаго журнала — *Москвитянина*. Журналъ издавался подъ редакціей профессора русской исторіи Погодина, при ближайшемъ и усерднѣйшемъ участіи Шевырева, наполнявшаго своими статьями весь критическій отдѣлъ. Очевидно, похвала или порицаніе ученаго критика рѣшали вопросъ о правахъ литературнаго гражданства сотрудника *Городского Листка*. Рѣшеніе оказалось вполнѣ благопріятнымъ, и именно оно сдѣлало для Островскаго четырнадцатое февраля самымъ памятнымъ днемъ жизни.

Шевыревъ, выслушавъ чтеніе, пришелъ въ восторгъ, обнялъ автора и привѣтствовалъ его какъ писателя, одареннаго громаднымъ талантомъ и призваннаго писать для отечественнаго театра.

«Съ этого дня», разсказываетъ Островскій, «я сталъ считать себя русскимъ писателемъ, и уже безъ сомнѣній и колебаній повѣрилъ въ свое призваніе».

Мы не знаемъ, какія драматическія сцены читалъ Островскій у Шевырева,—можно предполагать, что это была пьеса *Картина семейнаго счастья*. Ровно мѣсяцъ спустя послѣ достопамятнаго дня она появилась въ томъ же *Московскомъ Городскомъ Листкѣ* — за подписью А. О. И эта пьеса впослѣдствіи вызвала печатную полемику касательно вопроса, насколько она принадлежитъ Островскому? Наконецъ, въ той же газетѣ и въ томъ же году Островскій напечаталъ первое и послѣднее свое произведеніе въ недраматической формѣ—*Записки замоскворѣцкаго жителя*. Онѣ появились

въ трехъ номерахъ газеты, отъ 3-го іюня до пятаго, подъ ними не стояло никакой подписи, но подзаголовокъ сообщалъ, что новое произведеніе принадлежитъ автору *Картины семейнаго счастія. Записки* ни разу не перепечатывались и не вошли въ полное собраніе сочиненій Островскаго, — между тѣмъ онѣ представляютъ большой интересъ въ исторіи развитія авторскаго таланта и въ обращеніи *къ читателямъ* заключаютъ любопытную характеристику того оригинальнаго міра, какому предстояло на многіе годы вдохновлять творческій геній драматурга.

Авторъ сообщалъ, что 1 апрѣля 1847 года онъ нашелъ рукопись. Она «проливаетъ свѣтъ на страну, никому до сего времени въ подробности неизвѣстную и никѣмъ еще изъ путешественниковъ не описанную. До сихъ поръ извѣстно было только положеніе и имя той страны; что же касается до обитателей ея, т. е. образа ихъ жизни, языка, нравовъ, обычаевъ, степени образованности— все это было покрыто мракомъ неизвѣстности».

До сихъ поръ знали только, что страна эта лежитъ прямо противъ Кремля, по ту сторону Москвы-рѣки, отчего и называется *Замоскворѣчьемъ*. Но, спѣшитъ прибавить авторъ, наименованіе это нѣкоторые ученые производятъ также отъ слова скворецъ, такъ какъ жители страны питаютъ большое пристрастіе къ этой птицѣ и дѣлаютъ для нея особаго рода гнѣзда, называемыя скворешницами. Но дальше свѣдѣнія даже ученыхъ не идутъ.

«Остановится ли путникъ на высотѣ кремлевской, привлеченный неописанной красотой Москвы, — и онъ глядитъ на Замоскворѣчье, какъ на волшебный міръ, населенный сказочными героями тысячи и одной ночи. Таинственность, какъ туманъ, разстилалась надъ Замоскворѣчьемъ; сквозь этотъ туманъ, правда, доносились до насъ кое-какіе слухи объ этомъ Замоскворѣчьи, но они такъ сбивчивы, неясны и, можно сказать, неправдоподобны, что ни одинъ еще благомыслящій человѣкъ не могъ изъ нихъ составить себѣ сколько-нибудь удовлетворительнаго понятія о Замоскворѣчьи».

И авторъ приводитъ примѣры — странныхъ слуховъ, распространенныхъ въ публикѣ на счетъ рѣдкостей и чудесъ неизслѣдованной страны. Найденная рукопись—правдивый разсказъ о Замоскворѣчьи, и авторъ намѣренъ извлечь изъ своей находки рядъ замоскворѣцкихъ очерковъ,—пока же предлагаетъ вниманію публики одинъ—подъ заглавіемъ *Иванъ Ерофеичъ*.

Это исторія бѣднаго приказнаго, обывателя съ Зацѣпы, — въ *высшей* степени скорбная,—исторія гибели человѣка. Самъ Иванъ *Ерофеичъ бѣдствія свои* объясняетъ весьма краснорѣчивымъ сооб-

раженіемъ, не лишеннымъ значенія и для настроеній нашего молодого автора. «Гибну я отъ того, говоритъ несчастный герой, что не зналъ я счастья семейной жизни, что не нашелъ я за Москвой-рѣкой женщины, которая бы любила меня такъ, какъ я могъ любить. Отъ того, я гибну, что не зналъ я великаго вліянія женщины, этой росы небесной».

Краткій разсказъ о судьбѣ Ивана Ерофеича даетъ автору возможность показать цѣлую галлерею замоскорѣцкихъ портретовъ, начиная съ «купца-русака» и кончая мелкими чиновниками. Очевидно, у автора набрался обильный матерьялъ изъ жизни и нравовъ Замоскворѣчья. Чрезвычайно яркая характеристика лицъ и ихъ будничной обстановки, увѣренность рисунка и выпуклость отдѣльныхъ штриховъ свидѣтельствовали о близкой личной освѣдомленности автора въ предметѣ. Въ невѣдомой доселѣ странѣ онъ былъ какъ у себя дома, и «рукопись» вполнѣ оправдывала предисловіе: реальнѣе и правдивѣе трудно было изобразить заброшенное, «потерянное» житье-бытье невзрачныхъ замоскворѣцкихъ обывателей,—и въ небольшомъ отрывкѣ мы встрѣчаемъ первые художественные наброски многочисленныхъ типовъ, создавшихъ впослѣдствіи славу драматурга.

Столь блестящій и оригинальный талантъ, сказавшійся съ самаго начала, долженъ былъ обратить вниманіе всѣхъ, кто только слѣдилъ за явленіями современной литературы. Личность новаго писателя неминуемо стала центромъ цѣлаго кружка людей, такъ или иначе причастныхъ литературѣ — писателей, артистовъ и просто любителей отечественнаго слова.

Еще раньше чтенія сценъ въ домѣ Шевырева Островскій былъ знакомъ съ писателями. Восторженный отзывъ извѣстнаго профессора и критика еще выше приподнималъ популярность начинающаго драматурга и расширялъ общество людей, заинтересованныхъ его талантомъ. И однимъ изъ важнѣйшихъ фактовъ въ жизни Островскаго слѣдуетъ признать чрезвычайно разнообразный и обширный кругъ знакомствъ, встрѣтившій и сопровождавшій его первые писательскіе шаги. Выросшій въ тѣсномъ общеніи съ жизнью,— Островскій и писать началъ среди все тѣхъ же настойчивыхъ внушеній дѣйствительности. Она не переставала нести ему свою правду и силу,—былъ ли онъ чиновникомъ, сидѣлъ въ канцеляріи коммерческаго суда или попадалъ въ оживленную среду друзей и сочувственниковъ своего таланта.

Ему всюду представлялась обильная жатва для самобытнаго

творчества,—досугъ и дѣло служили одной и той же цѣли—обогащенію и совершенствованію литературнаго дарованія.

III.

Знакомства Островскаго, одинаково нужныя для него, принадлежали къ двумъ обществамъ,—и связующимъ звеномъ между этими обществами являлась личность молодого писателя. Онъ не былъ исключительно книжнымъ литераторомъ, онъ началъ самостоятельную жизнь практической дѣятельностью,—это счастливое совпаденіе отразилось на *средѣ* и писательскихъ опытахъ Островскаго. Онъ, по семейнымъ преданіямъ и по роду своей службы, безпрестанно сталкивался съ великимъ множествомъ простыхъ русскихъ людей, «русаковъ», какъ онъ самъ выражался въ своей замоскворѣцкой повѣсти,—и въ то же время по образованію и таланту принадлежалъ интеллигенціи, былъ однимъ изъ самыхъ блестящихъ украшеній литературнаго московскаго міра. Отсюда—чрезвычайно пестрая толпа «хорошихъ», «душевныхъ» людей, окружавшая Островскаго на первыхъ порахъ его литературной дѣятельности.

Мѣстомъ свиданій пріятельскаго кружка служилъ трактиръ Гурина, собственно одно изъ его отдѣленій—весьма извѣстное въ прошломъ московской литературной жизни—«Печкинская кофейня». Здѣсь собирались студенты, писатели, торговцы и просто любители веселой интереесной бесѣды и въ особенности русской пѣсни. Среди «русаковъ» выдѣлялся Иванъ Ивановичъ Шанинъ—торговецъ изъ ильинскихъ рядовъ.

Островскій весьма многимъ позаимствовался отъ этого оригинальнаго, богато-одареннаго «простого человѣка». Шанинъ отличался рѣдкимъ остроуміемъ, былъ мастеръ на бойкую мѣткую рѣчь, поражалъ находчивостью, когда надо было дать яркую и сильную характеристику лица или бытового явленія. Нѣкоторые разсказы и оригинальныя выраженія Шанина навсегда врѣзывались въ памяти слушателей. Онъ посвящалъ своихъ пріятелей въ многообразныя тайны гостиннодворскихъ дѣльцовъ, забавно и талантливо объяснялъ, какъ московскіе купцы обдѣлываютъ иногороднихъ обывателей, ловко сбываютъ имъ гнильё и лежалый товаръ. Изъ бесѣдъ того же Шанина нашъ кружокъ друзей и въ томъ числѣ Островскій узнали объ одномъ изъ распространеннѣйшихъ замоскворѣцкихъ типовъ, о купеческомъ братѣ, жертвѣ загула и пагубныхъ увлеченій. Фигура Любима Торцова, слѣдовательно, была

навѣяна разсказами бойкаго и остроумнаго купчика. Немало перепало въ комедіи Островскаго и отдѣльныхъ блестящихъ чисто-русскихъ выраженій, слетавшихъ съ языка Шанина въ разгарѣ пріятельской бесѣды.

И Шанинъ былъ не одинъ. Въ компанію входило еще человѣкъ пять молодежи—живой, веселой, искусной на разныя затѣи и замысловатыя выходки. Компанія носила наименованіе «оглашенныхъ»,—но это прозвище отнюдь не слѣдуетъ понимать въ унизительномъ смыслѣ. Всѣ молодые люди были заняты какимъ-нибудь дѣломъ, служили, торговали, учились, и всѣхъ ихъ соединяло общее чувство восторга предъ новымъ литературнымъ талантомъ. Въ пріятельской бесѣдѣ веселье било ключомъ, смѣхъ не умолкалъ, крылатыя слова летѣли вихремъ, каждый старался блеснуть своимъ искусствомъ—разсказать исторію, изобразить въ лицахъ героя или героиню изъ невѣдомой страны, именуемой Замоскворѣчьемъ.

Представлялась съ поразительной артистической вѣрностью—молящаяся старуха. Молитвѣ ея мѣшаетъ собака, она теребитъ старуху за подолъ и намѣревается укусить за ногу. Старуха ворчитъ, собака лаетъ, старуха отмахивается и продолжаетъ въ то же время свою молитву. Сцена кончается торжествомъ собаки, она кусаетъ старуху, та ее бьетъ,—поднимается вой, крикъ — и все это одновременно воспроизводится артистомъ—къ единодушному восторгу публики.

Среди этой публики присутствуетъ Писемскій, впослѣдствіи—знаменитый писатель, теперь простодушно, по-дѣтски смѣшливый наблюдатель. Онъ надолго запомнитъ лицедѣйскія упражненія пріятелей и перенесетъ ихъ въ свой романъ *Сороковые годы*. Можетъ быть даже съ бо́льшимъ восторгомъ, чѣмъ слѣдовало, онъ пересказжетъ забавныя представленія молодежи, окружавшей Островскаго. Артистъ, неподражаемо изображавшій сцену молящейся старухи съ собакой, столь же искусно вмѣстѣ съ другимъ такимъ же художникомъ воспроизводилъ голоса животныхъ, цѣлаго стада. Именно герои Писемскаго подвизаются въ подобнаго рода искусствѣ, и авторъ устами главнаго лица своего романа восклицаетъ: «Да, это смѣхъ—настоящій, честный, добрый».

Компанія не только сама жила полной веселой и возбуждающей жизнью,—она вносила ее всюду, гдѣ только являлась, вызывала у другихъ мѣткость и остроту выраженій, создавала—однимъ словомъ—все ту же своеобразную вдохновляющую атмосферу, какою питался нашъ молодой талантъ. Пьесы Островскаго переполнены *сильными, краткими озаряющими* опредѣленіями—явленій и лич-

ностей,—и онъ первый внесъ это богатство въ русскую литературу. И оно само плыло въ его руки, чуть не ежедневно онъ могъ собирать эти перлы своего литературнаго языка, вращаясь въ кругу «русаковъ» и дыша почвеннымъ московскимъ воздухомъ. Вотъ одинъ примѣръ, вполнѣ знакомящій насъ съ сущностью дѣла.

Въ баняхъ у Каменнаго моста существовалъ банщикъ Иванъ Миронычъ Антоновъ,—человѣкъ маленькаго роста, говорившій фальцетомъ и отборными книжными словами. Случилось въ баняхъ мыться тому самому артисту, который такъ искусно изображалъ молитву старухи и голоса животныхъ. Вбѣгая въ раздѣвальную, онъ заржалъ жеребенкомъ. Иванъ Миронычъ замѣтилъ, что юноша «малодушествомъ занимается»,—Островскій не преминулъ воспользоваться этимъ изреченіемъ.

И, несомнѣнно, такова судьба многихъ крылатыхъ словъ, столь обильно разсѣянныхъ въ пьесахъ Островскаго.

Немалую лепту внесла въ его творчество и подруга молодой жизни писателя,—Агаѳья Ивановна. Она была простого происхожденія, не отличалась красотой, не получила образованія, но обладала большой душевной привлекательностью, недюжиннымъ умомъ и сильнымъ характеромъ. Она съумѣла внушить пріятелямъ Островскаго — уваженіе и любовь, они въ шутку сравнивали ее съ Марѳой Посадницей,—и дѣйствительно, отъ нея исключительно зависѣлъ порядокъ скуднаго хозяйства Островскаго. Она, при самыхъ ограниченныхъ средствахъ, съумѣла создать довольство и всегда имѣла чѣмъ угостить друзей хозяина. Бесѣда ихъ не обходилась безъ ея участія, и участіе было—дѣятельное. Агаѳья Ивановна обладала прекраснымъ голосомъ, знала очень много русскихъ пѣсенъ и превосходно ихъ пѣла. Она была драгоцѣннымъ членомъ общества и въ другихъ отношеніяхъ и всегда могла оказать немалую услугу Островскому, какъ писателю. Купеческій бытъ Агаѳьи Ивановна знала до тонкости, глубоко понимала обычаи и нравы таинственнаго замоскворѣцкаго царства. Островскій внимательно прислушивался къ ея сужденіямъ, высоко цѣнилъ ея совѣты и многое исправлялъ въ своихъ пьесахъ по ея приговору. Свидѣтели ранней литературной дѣятельности Островскаго большую долю участія приписываютъ Агаѳьѣ Ивановнѣ въ комедіи «*Свои люди сочтемся*»,—особенно въ ея содержаніи и внѣшней обстановкѣ. Вообще, по всѣмъ даннымъ, Агаѳья Ивановна представляется личностью незаурядной и настолько привлекательной и интересной, что друзья Островскаго навсегда сохранили о ней самыя лестныя воспоминанія.

Таковы чисто-русскія самобытныя вліянія, пережитыя Островскимъ—авторомъ первыхъ произведеній изъ замоскворѣцкаго быта. Но рядомъ съ «русаками» писателя окружали люди другого круга,—артисты, студенты, литераторы. Между этими, повидимому довольно различными и пестрыми элементами связующимъ звеномъ была всѣхъ одинаково горячо одушевлявшая любовь къ русской народности, къ народному творчеству, въ особенности къ русской народной пѣснѣ.

Тотъ же Писемскій сохранилъ яркое воспоминаніе объ этомъ увлеченіи и также перенесъ его въ одинъ изъ своихъ романовъ—«*Взбаламученное море*».

Здѣсь разсказывается очень живая сцена, очевидно, безпрестанно повторявшаяся въ студенческомъ трактирѣ *Британія*. Среди шума и оживленныхъ бесѣдъ мгновенно все смолкло.

— Тертіевъ поетъ, воскликнулъ студентъ и, перескочивъ черезъ голову другого студента, убѣжалъ. Другіе устремились за нимъ. Въ билліардной они увидѣли молодого бѣлокураго студента, который, опершись на кій и подобравъ высоко грудь, пѣлъ чистымъ теноромъ:

Кто-бы, кто-бы моему горю-горюшку помогъ.

Слушали его нѣсколько студентовъ. Одинъ изъ прибѣжавшихъ на звуки пѣсни шмыгнулъ съ ногами на диванъ и превратился въ олицетворенное блаженство.

Въ сосѣдней комнатѣ Кузьма, половой, прислонившись къ притолкѣ, погрузился въ глубокую задумчивость. Прочіе половые также слушали. Многіе изъ гостей купцовъ не безъ удовольстія повернули свои уши къ дверямъ. Пропѣтая пѣсня смѣнилась другой:

Ужъ ведутъ ведутъ Ванюшу: руки ноги скованы
Буйная его головка да вся испроломана...

И восторги слушателей не ослабѣвали и не падали. «За душу захватывала русская пѣсня», вспоминалъ потомъ Горбуновъ,—«въ натуральномъ исполненіи Т. И. Филиппова»,—и именно этого пѣвца изображаетъ Писемскій.

Русская пѣсня въ кружкѣ Островскаго пользовалась исключительнымъ почетомъ. Искусныхъ пѣвцовъ разыскивали во всѣхъ углахъ Москвы, не обѣгая грязныхъ, шумливыхъ трактировъ и погребовъ. Сюда собирались доморощенные артисты, игравшіе на разныхъ инструментахъ, и о нѣкоторыхъ изъ нихъ такъ вспоминаетъ Т. И. Филипповъ: «Николка-рыжій гитаристъ, Алексѣй съ торбаномъ: водку запивалъ квасомъ, потому что никакой закуски жеу-

докъ его не принималъ. А былъ артистъ и «венгерку» на торбанѣ игралъ такъ, что и до сихъ поръ помню».

Подобная пѣсня раздавалась не въ однихъ трактирахъ и кабачкахъ. Общепризнанный непобѣдимый артистъ Т. И. Филипповъ перенесъ ее въ литературныя гостиныя и даже въ свѣтскія залы. Здѣсь восторгъ охватывалъ и самихъ хозяевъ, и ихъ прислугу, часто плакавшую отъ умиленія.

Островскій раздѣлялъ общее восхищеніе. Онъ и самъ обладалъ очень красивымъ теноромъ, пѣлъ превосходно,—правда не русскія пѣсни, а романсы. И ему очень льстили его успѣхи на этомъ поприщѣ, онъ въ ранней молодости готовъ былъ гордиться ими, по крайней мѣрѣ не меньше, чѣмъ писательскими. Народная пѣсня произвела надраматурга неотразимое впечатлѣніе. Подъ вліяніемъ ея—не только его художественный талантъ усвоилъ новые мотивы творчества, но измѣнилось даже самое міросозерцаніе Островскаго. Несомнѣннымъ отраженіемъ народыхъ пѣсенъ явилась драма «*Не такъ живи, какъ хочется*». Островскій очень долго и тщательно работалъ надъ этой пьесой, воодушевляя ее поэтическимъ народнымъ духомъ. Какое значеніе имѣла въ этой работѣ народная поэзія—показываетъ первый набросокъ пьесы: онъ переполненъ выраженіями и цѣлыми стихами изъ народныхъ пѣсенъ.

Но еще существеннѣе, конечно, вопросъ о преобразованіи міросозерцанія молодого писателя, т. е. о видоизмѣненіи самой основы его литературной дѣятельности. Оно въ высшей степени любопытно и составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ фактовъ всей жизни Островскаго.

IV.

Во время пребыванія Островскаго въ университетѣ, въ литературѣ самой громкой и лестной славой было окружено имя Бѣлинскаго и обширнѣйшимъ вліяніемъ пользовался журналъ, служившій ему органомъ,—*Отечественныя Записки*. Въ романѣ Писемскаго *Сороковые годы* студенты съ особенной горячностью бесѣдуютъ именно о Бѣлинскомъ, нѣкоторые изъ нихъ знаютъ его статьи наизусть,—вообще идеи и талантъ знаменитаго критика стоятъ на очереди дня. Островскій не могъ миновать столь широкаго и сильнаго теченія. Онъ также усердный читатель *Отечественныхъ Записокъ* и, слѣдовательно, весь принадлежитъ западническому направленію. Онъ увлекается западничествомъ до послѣдней крайности, увѣряетъ, что ему даже противенъ видъ Кремля съ соборами.

— Для чего здѣсь настроены эти пагоды? однажды задалъ онъ вопросъ своему пріятелю, пѣвцу русскихъ пѣсенъ.

Но эта крайность не могла оставаться прочной. Островскій еще не имѣлъ вполнѣ опредѣлившихся убѣжденій, онъ просто поддавался болѣе распространенному и сильному направленію идей. И не трудно было предугадать, что именно западничество менѣе всего соотвѣтствовало природѣ и таланту Островскаго. Всѣ прирожденныя сочувствія влекли его къ русской коренной почвѣ, всѣми силами души онъ былъ связанъ съ Москвой и ея бытомъ. Презрѣніе къ Московскому Кремлю звучало въ его устахъ по меньшей мѣрѣ странно и неожиданно,—и, очевидно, являлось плодомъ внѣшнихъ вѣяній. Стоило вѣяніямъ перемѣниться, стоило попасть Островскому въ кругъ людей, болѣе родственныхъ по своимъ взглядамъ его собственнымъ естественнымъ влеченіемъ, — и западническія крайности безъ особенныхъ затрудненій могли перейти въ противоположныя.

Надо помнить,—Островскій—натура чисто-художественная, а не публицистическая. Въ такихъ натурахъ убѣжденія создаются не столько логическимъ процессомъ мысли, сколько впѣчатлѣніями, чувствомъ и воображеніемъ. И очевидецъ совершенно правильно замѣчаетъ, что народная пѣсня въ кружкѣ Островскаго была «главною силою, которая постепенно слагала, вырабатывала и выясняла основы міросозерцанія молодыхъ друзей». Это *поэтическое* внушеніе возъимѣло особенное дѣйствіе на Островскаго, и вскорѣ послѣ его западническихъ увлеченій мы слышимъ отъ одного изъ самыхъ близкихъ его друзей: русское направленіе, воспринятое Островскимъ, доходило у него иногда даже до крайностей. Островскій уже не могъ равнодушно выслушивать отзывовъ и толковъ западническаго лагеря, они оскорбляли его самолюбіе, затрогивали его лично и обостряли враждебное отношеніе къ столь недавно еще обожаемому направленію.

Не одна, конечно, народная пѣсня совершила подобную перемѣну. Вся атмосфера, которою дышалъ молодой писатель, располагала его именно къ русскому направленію. Его окружали яркіе національные таланты, на молодую впечатлительность сильно дѣйствовали оригинальныя русскія натуры,—а всѣ эти сѣмена падали на крайне благопріятную самой природой подготовленную почву. Но при всѣхъ крайностяхъ Островскаго въ новомъ направленіи не слѣдуетъ думать, будто онъ сталъ рѣшительнымъ непримиримымъ врагомъ западниковъ. Такая рѣзкость и прямолинейность не соотвѣтствовали бы основному художественному строю природы нашего

писателя. Онъ одинаково былъ далекъ отъ славянофильской сектантской исключительности и отъ слѣпыхъ восторговъ противоположнаго лагеря предъ западно-европейской цивилизаціей. Здравый смыслъ и глубокое національное чувство—главнѣйшія основы міросозерцанія Островскаго. Всякій отвлеченный фанатизмъ былъ ему совершенно чуждъ и впослѣдствіи, въ качествѣ директора театровъ, онъ усердно будетъ заботиться о появленіи на русской сценѣ образцовыхъ произведеній западной драматической литературы, будетъ переводить испанскихъ и итальянскихъ драматурговъ и мечтать о полномъ переводѣ Мольера. Все это, по мнѣнію Островскаго, не могло мѣшать національному развитію русской сцены.

Не меньше терпѣлъ онъ и въ началѣ своей литературной дѣятельности. Временами онъ могъ считать даже за личное оскорбленіе тотъ или иной отзывъ западника о русской исторіи и русской дѣйствительности,—но временныя огорченія не вызывали у него желанія порвать всѣ связи съ западниками. Онъ охотно отзывается на ихъ приглашенія—прочесть среди нихъ свою пьесу, навѣщаетъ западническій салонъ графини Сальясъ, писавшей подъ именемъ Евгеніи Туръ, вообще не слѣдуетъ примѣру своихъ ближайшихъ пріятелей, намѣренно избѣгавшихъ противнаго лагеря. Онъ далекъ также и отъ чисто-внѣшнихъ славянофильскихъ увлеченій своихъ друзей, не переодѣвается въ мужицкое платье, не тоскуетъ о длинной національной бородѣ, вообще—онъ не утрачиваетъ ни на минуту здраваго смысла и спокойствія духа, идетъ ровно и спокойно своимъ путемъ правдиваго непосредственно-сильнаго художественнаго творчества.

Но именно эти качества и вызываютъ особенный восторгъ у славянофильскихъ поклонниковъ Островскаго. Врядъ-ли когда-либо какой русскій писатель съ первыхъ же шаговъ своей дѣятельности возбуждалъ такое стремительное чувство любви, почти обожанія. Онъ становится настоящимъ центральнымъ свѣтиломъ многочисленныхъ литературныхъ и артистическихъ талантовъ. На него смотрятъ какъ на могучаго представителя истинно-русскаго искусства, какъ на единственную блестящую надежду національной литературной сцены.

Среди восторженныхъ цѣнителей таланта и личности Островскаго первое мѣсто по всѣмъ правамъ должно принадлежать Аполлону Григорьеву. Одаренный незаурядными литературными способностями, сильнымъ художественнымъ чувствомъ, рыцарски обожавшій литературу и искусство—Григорьевъ представлялъ своеобразное явленіе—пламеннаго, часто до самозабвенія вдохновеннаго

романтика—на русской національной почвѣ. Личная жизнь выпала ему крайне неудачная, переполненная обманутыми надеждами, неосуществившимися мечтами и всякаго рода лишеніями. Слишкомъ горячій романтическій строй натуры и обиліе жизненныхъ испытаній безпрестанно мѣшали ясности и спокойствію критической работы Григорьева. Его трудно было вложить въ строго опредѣленныя рамки правовѣрнаго литературнаго направленія,—и Погодинъ приходилъ въ оторопь отъ внезапныхъ взрывовъ чисто-поэтическаго вдохновенія своего сотрудника, отъ его неукротимой умственной независимости, отъ его художественнаго равнодушія къ общепризнаннымъ уставамъ и обычаямъ славянофильскаго толка.

Но и Погодинъ не могъ не признать, что Григорьевъ «много хорошаго вездѣ скажетъ съ чувствомъ». Именно это чувство преимущественно и управляло восторгами и мыслями Григорьева. И всѣ эти силы цѣликомъ сосредоточились на Островскомъ. Молодой драматургъ сталъ центромъ *молодой редакціи Москвитянина*. Она, по замыслу самого Погодина, должна была обновить его журналъ, вдунуть въ него свѣжую юную жизнь и упрочить торжество славянофильской литературной и общественной вѣры.

Григорьевъ оставилъ намъ воспоминанія объ этомъ невозвратномъ прошломъ—безпредѣльныхъ надеждъ и истинно-богатырскихъ творческихъ замысловъ.

Предъ нами не простой разсказъ, а страстная вдохновенная исповѣдь. Рѣчь ведетъ не просто бывшій сотрудникъ бывшаго журнала а предается воспоминаніямъ нѣкій влюбленный, пережившій чарующіе образы своихъ мечтаній. Онъ кратко и ясно опредѣляетъ значеніе Островскаго въ своей личной и писательской судьбѣ: «явился Островскій и около него, какъ центра,—кружокъ, въ которомъ *нашлись* всѣ мои дотолѣ смутныя вѣрованія». *Нашлись*—подчеркиваетъ самъ авторъ, придавая, очевидно, исключительное значеніе самому факту встрѣчи съ Островскимъ и его друзьями.

Очевидецъ разсказываетъ намъ и самую сцену, съ которой началось нравственное просвѣтлѣніе Григорьева,—сцена столь же рѣдкостнаго характера, какъ и вся исторія отношеній Григорьева къ Островскому.

Однажды у Островскаго былъ большой литературный вечеръ, присутствовали представители всѣхъ литературныхъ направленій. Когда большинство гостей разошлось и остались только близкіе Островскому люди—Филиппова просили спѣть. Пѣвецъ, по обыкновенію, произвелъ на всѣхъ сильное впечатлѣніе и въ особенности—на *Григорьева*. Онъ упалъ на колѣни и просилъ кружокъ принять

и его въ число своихъ ближайшихъ членовъ. Онъ—въ порывѣ восхищенія и мольбы—заявлялъ, что до сихъ поръ онъ всюду и тщетно искалъ правды, и нашелъ ее наконецъ въ средѣ друзей Островскаго, и онъ былъ бы счастливъ, если бы ему позволили здѣсь бросить якорь.

И онъ бросилъ. Островскій сталъ для Григорьева пророкомъ *новаго слова*, единственнымъ полнымъ выразителемъ его міросозерцанія. Григорьевъ не умѣетъ опредѣлить, кто онъ—западникъ или славянофилъ, — знаетъ только, что существуетъ одинъ человѣкъ, съ нимъ у него «*все* общее». Только онъ можетъ сказать вѣщее слово, и дѣйствительно скажетъ его.

Эти восторги Григорьевъ перенесетъ и въ свои статьи, примется даже въ стихахъ воспѣвать талантъ обожаемаго драматурга, посвятитъ цѣлую оду Любиму Торцову, какъ воплотителю «русской чистой души»,—вообще Григорьевъ до конца дней останется пламеннымъ распространителемъ *вѣры Островскаго*. И нашего писателя слѣдуетъ считать душой и средоточіемъ *молодой редакціи* погодинскаго журнала. Такую роль опредѣлилъ ему самъ Погодинъ, задумывая обновленіе своего изданія и отводя въ немъ мѣсто современной даровитой молодежи русскаго направленія.

V.

Островскій очень долго работалъ надъ первой своей комедіей. *Банкротъ* писался и исправлялся около четырехъ лѣтъ. Еще въ 1846 году планъ пьесы былъ совершенно готовъ и точно опредѣлено развитіе дѣйствія,—цѣлые годы ушли на обработку частностей. Только въ 1849 году пьеса была закончена. Островскій имѣлъ уже многочисленныя знакомства среди литераторовъ, мы знаемъ,—его успѣлъ оцѣнить и соредакторъ Погодина—Шевыревъ. Слухи о молодомъ талантѣ дошли, наконецъ, и до издателя *Москвитянина*,—но слухи очень смутные и не вполнѣ вѣрные. Профессоръ, обитавшій на Дѣвичьемъ полѣ и погруженный въ «пыль вѣковъ» своего «Древлехранилища», поздно и случайно узнавалъ о событіяхъ современной живой литературы, и теперь онъ обращался за свѣдѣніями къ Шевыреву. «Есть какой-то Островскій, писалъ онъ,—который хорошо пишетъ въ легкомъ родѣ, какъ я слышалъ». Погодинъ предполагалъ собрать болѣе точныя данныя у *учителя дѣтей Шевырева*, товарища Островскаго, и «спросить» у *новоявленнаго писателя* «его трудовъ»: «я посмотрѣлъ бы ихъ и *потомъ объявилъ бы свои* условія».

Все остальное образованное Московское общество обнаружило гораздо больше энергіи и любопытства къ молодому писателю. Едва по городу разнеслись слухи о томъ, что комедія окончена,—на Островскаго посыпались приглашенія—прочитать ее въ избранномъ кружкѣ. Первое чтеніе состоялось у Каткова—въ присутствіи нѣкоторыхъ западниковъ. Впечатлѣніе превзошло всѣ ожиданія,—тѣмъ болѣе, что искусство Островскаго какъ чтеца стояло на уровнѣ его авторскаго таланта.

Читалъ онъ медленно, чрезвычайно тщательно оттѣняя каждую фразу, будто прислушиваясь къ ней и взвѣшивая каждое выраженіе. Слушатели самыхъ разнородныхъ общественныхъ слоевъ единодушно подчинялись обаянію чтеца: такъ онъ умѣлъ захватить и поработить — одновременно и литераторовъ, и аристократовъ, и сѣрую купеческую толпу.

Успѣхъ у Каткова былъ только блѣднымъ сравнительно началомъ торжества Островскаго. Втеченіи всей зимы 1849 года чтенія пьесы не прекращались, повторялись чуть не каждый день. Аристократическія гостиныя въ своихъ восторгахъ не отставали отъ личныхъ друзей Островскаго. Извѣстный кавказскій герой, генералъ Ермоловъ, очень мѣтко выразилъ свое впечатлѣніе, выслушавъ пьесу: «Она не написана, она сама родилась». Графиня Ростопчина написала Погодину горячее письмо, которое должно было окончательно встряхнуть ученаго изслѣдователя древностей.

«Что за прелесть *Банкротство*!—восклицала графиня, нѣсколько путая названіе пьесы.—Это нашъ русскій Тартюфъ, и онъ не уступитъ своему старшему брату въ достоинствѣ правды, силы и энергіи. Ура! у насъ рождается *своя* театральная литература и нынѣшній годъ былъ для нея благодатно-плодовитъ».

Погодинъ рѣшился, наконецъ, и у себя устроить вечеръ и пригласить Островскаго. Вечеръ состоялся 3-го декабря. Островскій явился въ сопровожденіи артиста Садовскаго, читавшаго съ нимъ попеременно пьесу. Чтеніе и на этотъ разъ вызвало всеобщее восторженное одобреніе. Погодинъ записалъ въ своемъ дневникѣ: «комедія—*Банкротъ*—удивительная». То же чувство раздѣляли и многочисленные гости профессора — актеры и литераторы. Среди нихъ находился и Гоголь. Его заранѣе пригласили на чтеніе комедіи. Онъ опоздалъ, пріѣхалъ среди чтенія, тихо подошелъ къ двери и сталъ у притолки. Такъ простоялъ до конца, слушая, повидимому, внимательно. Послѣ чтенія онъ не проронилъ ни слова. Графиня Ростопчина подошла къ нему и спросила: «Что вы скажете, *Николай Васильевичъ*?» — Хорошо, но видна нѣкоторая неопыт-

ность въ пріемахъ. Вотъ этотъ актъ нужно бы подлиннѣе, а этотъ покороче. Эти законы узнаются послѣ, и въ непреложность ихъ не сейчасъ начинаешь вѣрить».

Этимъ и ограничился судъ Гоголя,—къ автору комедіи онъ не подошелъ ни разу. Но это не свидѣтельствовало о безучастіи геніальнаго писателя къ новому таланту. Отъ Погодина мы знаемъ, что Островскій «подвигнулъ» Гоголя, т. е. произвелъ на него не менѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ на другихъ.

Шевыревъ и здѣсь не преминулъ выразить свой восторгъ. Онъ обратился къ слушателямъ съ торжественными словами:

— Поздравляю васъ, господа, съ новымъ драматическимъ свѣтиломъ въ русской литературѣ!..

Болѣе лестной критики не могъ услышать начинающій писатель,—и Островскій послѣ разсказывалъ: «Я не помню, какъ я пришелъ домой; я былъ въ какомъ-то туманѣ и, не ложась спать, проходилъ всю ночь по комнатѣ: такими сказочными словами мнѣ показался отзывъ Шевырева».

Въ мартѣ 1850 года комедія появилась въ «*Москвитянинѣ*». Съ этого времени начинается широкая извѣстность Островскаго. И она находитъ сочувствіе у людей различныхъ литературныхъ лагерей и разныхъ взглядовъ на искусство. Представитель старой словесности—профессоръ Давыдовъ—почувствовалъ силу новаго живого оригинальнаго таланта и сообщалъ Погодину: «Въ Островскомъ признаю помазаніе». Ученый словесникъ, воспитанный на теоріяхъ и формулахъ учебниковъ, не могъ, разумѣется, окончательно отрѣшиться отъ предразсудковъ и укорялъ комедію въ отсутствіи дѣйствія,—впрочемъ, потому что—у Островскаго не было крикливыхъ эффектовъ и искусственнаго драматизма. Болѣе чуткая публика восхищалась пьесой безъ всякихъ ограниченій. Особеннаго вниманія заслуживаетъ отзывъ князя В. Ѳ. Одоевскаго, даровитаго писателя, благороднѣйшаго друга литературы и лучшихъ писателей своего времени, между прочимъ Пушкина. Одоевскій смотрѣлъ на литературу, какъ на высокій нравственный долгъ писателей, какъ на отвѣтственную общественную службу. И вотъ онъ-то въ письмѣ къ своему пріятелю привѣтствовалъ горячо произведеніе молодого драматурга. «Читалъ-ли ты комедію или лучше трагедію Островскаго—*Свои люди сочтемся* и которой настоящее названіе *Банкротъ?* Пора было вывести на свѣжую воду самый развращенный духомъ классъ людей. Если это не минутная вспышка, не грибъ, *выдавившійся самъ собою* изъ земли, просоченной всякою гнилью, *то этотъ человѣкъ есть* талантъ огромный. Я считаю на Руси три

трагедіи: *Недоросль, Горе отъ ума, Ревизоръ*. На *Банкротѣ* я поставилъ нумеръ четвертый».

Восторгъ князя Одоевскаго былъ вѣрной порукой жизненнаго и значительнаго смысла комедіи, — слѣдовательно, — въ пользу ея заранѣе были завоеваны отзывчивыя сердца и благородные умы среди современной публики. Университетская молодежь немедленно откликнулась на новый могучій голосъ,—и Островскій сразу сталъ популярнѣйшимъ писателемъ среди студентовъ. Они уже знали всѣ новости, касавшіяся новой знаменитости, слышали, какъ Островскій читалъ пьесу у Погодина, дошелъ до нихъ слухъ и о томъ, что Гоголь, не изъявившій желанія познакомиться съ авторомъ послѣ чтенія, только написалъ карандашомъ похвальный отзывъ на клочкѣ бумаги; клочекъ передали Островскому, и тотъ хранилъ его какъ драгоцѣнность. Легко представить,—какое страстное желаніе овладѣло молодежью прочитать уже напечатанную комедію! Но трудно было добиться этого счастья. Въ трактирахъ книжка *Москвитянина* ходила на расхватъ, приходилось дожидаться очереди по цѣлымъ днямъ, подкупать половыхъ, умолять ихъ—потерпѣть нѣсколько лишнихъ минутъ, дать — вникнуть въ красоты удивительнаго произведенія. Островскій и самъ не отказался осчастливить личнымъ знакомствомъ своихъ читателей, — и они были поражены и тронуты его простымъ товарищескимъ отношеніемъ къ студентамъ, его вниманіемъ къ ихъ рѣчамъ и замѣчаніямъ. Будто самый обыкновенный смертный попалъ въ студенческую меблированную комнату: ничего величественнаго и внушительнаго! Такимъ останется знаменитый писатель до конца своихъ дней — доступнымъ, обаятельнымъ, искренне добрымъ.

Но не одни лавры достались на долю автору *Банкрота*. Одновременно пришлось испытать не мало огорченій — и съ разныхъ сторонъ, оффиціальнаго и литературнаго происхожденія. Именно чрезвычайная слава новой комедіи собрала тучи надъ головой Островскаго, — и надъ нимъ грянулъ громъ. Правда, — ударъ не нанесъ ни малѣйшаго ущерба ни таланту, ни славѣ писателя,—но подарилъ его многими весьма тяжелыми минутами. Драматургъ на первыхъ же порахъ дорого расплачивался за только-что пріобрѣтенное знаменитое имя: ему пришлось отстаивать и свой талантъ и свои авторскія права и вести борьбу при крайне тягостныхъ обстоятельствахъ. Она окончилась въ его пользу—только благодаря силѣ все того же таланта, которому никакая власть и никакая клевета не могли заградить пути къ развитію и побѣдѣ надъ завистью и *злобой*.

На первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить оффиціальную исторію: она и по времени предшествуетъ литературной и по значенію въ судьбѣ произведеній Островскаго ей, несомнѣнно, принадлежитъ первенство.

VI.

Комедія усердно читалась по трактирамъ — не только студентами. Въ трактирѣ у Чугуннаго моста, привлекавшаго самую разнообразную публику машиной съ барабанами — единственной въ то время на всю Москву—ежедневно пьеса читалась какимъ-то добровольцемъ вслухъ. Чтеніе повторялось по нѣскольку разъ въ день за приличное угощеніе. Естественно, молва о комедіи проникла гораздо дальше университетскихъ аудиторій и литераторскихъ кружковъ,—о ней услышали сами ея герои—Большовы, Подхалюзины, Ризположенскіе. Легко представить, какое впечатлѣніе произвело на нихъ столь открытое разоблаченіе заповѣднѣйшихъ тайнъ замоскворѣцкаго царства! Обида выходила кровная и тѣмъ болѣе нестерпимая, что ее наносилъ щелкоперъ, издѣвался надъ именитымъ купечествомъ «стрекулистъ»: неизбѣжно слѣдовало призвать на помощь власть и потребовать отъ нея кары преступнику.

Московская цензура еще до напечатанія пьесы предчувствовала негодованіе именитаго купечества. Попечитель Московскаго учебнаго округа и въ то же время начальникъ московской цензуры — генералъ Назимовъ не былъ врагомъ литературы, готовъ былъ скорѣе найти способы—открыть свободный путь новому таланту. Отнесся онъ къ пьесѣ чрезвычайно осторожно, совѣтовался даже съ генералъ-губернаторомъ графомъ Закревскимъ, справлялся у него о сословіи, представленномъ въ комедіи, и о впечатлѣніи, какое она производила на общество при чтеніи ея въ рукописи. Въ заключеніе Назимовъ приходилъ къ благопріятному рѣшенію: «въ комедіи хотя и представлены люди порочные, впрочемъ не всѣ, однако порокъ не только не торжествуетъ, но наказывается самою жестокою на землѣ карою». Въ виду всего этого Назимовъ не нашелъ препятствій — разрѣшить пьесу напечатать. Не былъ, очевидно, противъ напечатанья, и генералъ-губернаторъ.

Результаты оказались плачевные. Надъ всѣмъ цензурнымъ вѣдомствомъ стоялъ особый комитетъ, учрежденный 2-го апрѣля 1848 года. Комитету принадлежалъ высшій надзоръ за книгопечатаніемъ, и онъ выполнялъ свои обязанности съ усердіемъ, стяжавшимъ ему единственную въ своемъ родѣ историческую извѣстность.

Комитетъ совершенно иначе взглянулъ на пьесу, чѣмъ Назимовъ и даже Закревскій, менѣе всего расположенный къ либеральнымъ поблажкамъ. Комитетъ считалъ своимъ долгомъ не только пресѣкать и карать литературныя преступленія, но и вразумлять авторовъ на будущее время, внушать имъ — по своему усмотрѣнью — правила писательства и цѣли литературной дѣятельности. Комитетъ сообщилъ свое мнѣніе о предосудительномъ содержаніи комедіи—министру народнаго просвѣщенія, графу Уварову, вѣдавшему въ то время цензуру. Министръ въ свою очередь отнесся къ Назимову съ предложеніемъ—пригласить автора къ себѣ и «вразумить его, что благородная и полезная цѣль таланта должна состоять не только въ такомъ изображеніи смѣшного и дурного, но и въ справедливомъ его порицаніи, не только въ каррикатурѣ, но и въ распространеніи высшаго нравственнаго чувства, слѣдовательно, въ противопоставленіи порока добродѣтели, и картинамъ смѣшного и преступнаго такихъ помысловъ и дѣяній, которыя возвышаютъ душу; наконецъ, въ утвержденіи того столь важнаго для жизни общественной и частной вѣрованія, что злодѣяніе находитъ достойную кару еще на землѣ».

Комитетъ 2-го апрѣля, очевидно, хотѣлъ прописной морали въ лицахъ, подходящей для дѣтской нравоучительной словесности. Островскій въ отвѣтъ на вразумленія цензурнаго вѣдомства написалъ Назимову письмо, — въ высшей степени любопытное. Оно сообщаетъ намъ цѣнныя свѣдѣнія о судьбѣ комедіи въ лучшемъ купеческомъ кругу и излагаетъ понятія автора о своихъ писательскихъ обязанностяхъ.

«Трудъ мой, еще не оконченный», писалъ Островскій, «возбудилъ одинаковое сочувствіе и производилъ самыя отрадныя впечатлѣнія во всѣхъ слояхъ московскаго общества, болѣе же всего между купечествомъ. Лучшія купеческія фамиліи единодушно гласно изъявляли желаніе видѣть мою комедію въ печати и на сценѣ. Я самъ нѣсколько разъ читалъ эту комедію передъ многочисленнымъ обществомъ, состоящимъ исключительно изъ московскихъ купцовъ, и, благодаря русской правдолюбивой натурѣ, они не только не оскорблялись этимъ произведеніемъ, но въ самыхъ обязательныхъ выраженіяхъ изъявили мнѣ свою признательность за вѣрное воспроизведеніе современныхъ недостатковъ и пороковъ ихъ сословія, и горячо высказывали необходимость дѣльнаго и правдиваго обличенія этихъ пороковъ (въ особенности превратнаго воспитанія) на пользу своего круга. Въ глазахъ этихъ почтенныхъ людей правда и *польза, коей они* отъ нея надѣялись, исключала всякую мысль

объ оскорбленіи мелочного самолюбія. Все это побудило меня представить мою комедію въ цензурный комитетъ, и это же, осмѣливаюсь думать, обратило и ваше вниманіе на мой трудъ. Согласно понятіямъ моимъ объ изящномъ, считая комедію лучшею формою къ достиженію нравственныхъ цѣлей и признавая въ себѣ способность воспроизводить жизнь преимущественно въ этой формѣ, я долженъ былъ написать комедію или ничего не написать. Твердо убѣжденный, что всякій талантъ дается Богомъ для извѣстнаго служенія, что всякій талантъ налагаетъ обязанности, которыя честно и прилежно долженъ исполнять человѣкъ, я не смѣлъ оставаться въ бездѣйствіи. Будетъ часъ, когда спросится у каждаго: «гдѣ талантъ твой?»

Это объясненіе, при всей своей искренности и правдивости, не прекратило волненій власти. Пьеса не была разрѣшена къ постановкѣ на сценѣ, — и не разрѣшалась втеченіи цѣлыхъ десяти лѣтъ. Но и этимъ не ограничилась исторія. Самъ авторъ подвергся преслѣдованіямъ. Несомнѣнно,— далеко не все московское купечество обнаружило «русскую правдолюбивую натуру», нашлись личности—обиженные и негодующіе, и предъ ними былъ естественный путь — излить свою обиду—пожаловаться на дерзкаго литератора генералъ-губернатору. Графъ Закревскій впослѣдствіи числился среди поклонниковъ таланта Островскаго, по крайней мѣрѣ онъ не пропускалъ случая—присутствовать на представленіяхъ его пьесъ. Но теперь онъ энергично принялся выполнять долгъ службы, вѣроятно, побуждаемый преимущественно Большовыми и Ризположенскими. Относительно автора комедіи было вчинено негласное дознаніе, къ предсѣдателю коммерческаго суда отправлена секретная бумага. Она требовала у начальства свѣдѣній на счетъ чина, должности, званія Островскаго, а также его «образа жизни и мыслей». Предсѣдатель отвѣчалъ также секретнымъ донесеніемъ, и на самый щекотливый запросъ генералъ-губернатора давалъ такой отзывъ: «Что же касается до образа жизни и мыслей, то Островскій, находясь при отцѣ, по службѣ своей пользовался хорошимъ мнѣніемъ начальства, не подавая повода къ замѣчанію о какомъ-либо неблагонамѣренномъ образѣ мыслей».

Этотъ отзывъ не предотвратилъ участи писателя. Островскій былъ отданъ подъ надзоръ полиціи. Его особенно не безпокоили,—и странно было бы безпокоить. *Поднадзорный* Островскій не разъ читалъ свои произведенія на вечерахъ у того же графа Закревскаго. Однажды ему вздумалось пожаловаться графу на недоразумѣніе *властей, записавшихъ* его въ списокъ «неблагонадежныхъ». Графъ *встрѣтилъ жалобу* лукавымъ комплиментомъ:

— Это вамъ дѣлаетъ больше чести...

Но какъ бы то ни было, — надзоръ былъ снятъ только при вступленіи на престолъ императора Александра II,—и квартальный явился поздравить Островскаго.

— Кажется, мы васъ не безпокоили, заявилъ онъ вѣжливо. Мы доносили объ васъ, какъ о благородномъ человѣкѣ. Не скрою, однако, что мнѣ одинъ разъ была за васъ нахлобучка.

Необходимымъ слѣдствіемъ полицейскаго надзора явилась отставка Островскаго. Десятаго января 1851 года состоялось его увольненіе, въ аттестатѣ говорилось, что увольняемый должность свою исправлялъ усердно при хорошемъ поведеніи.

Но оффиціальнымъ гоненіемъ не закончились мытарства первой комедіи Островскаго. Лишь только слава о ней стала распространяться за предѣлы тѣснаго кружка писателей, — немедленно заговорилъ бывшій «сотрудникъ» Островскаго. Онъ предъявилъ свои права на достоинства пьесы, приписывалъ себѣ не меньшую долю работы, чѣмъ Островскому; сплетня было разлилась, была подхвачена завистниками и просто любителями всякаго рода ссоръ и дрязгъ и, наконецъ, перешла даже въ печать.

Въ *Вѣдомостяхъ Московской Городской Полиціи* нѣкій *Правдовъ* спрашивалъ, почему на цѣлой пьесѣ «*Свои люди—сочтемся*» не значится двухъ авторскихъ именъ, между тѣмъ какъ подъ отрывкомъ изъ нея, въ *Московскомъ Городскомъ Листкѣ* стоятъ двѣ подписи? Почему Островскій умолчалъ объ участіи Горева въ сочиненіи пьесы?

На этотъ запросъ Островскій отвѣчалъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*,—статьей «*Литературное объясненіе*». Оно сообщаетъ любопытныя свѣдѣнія о началѣ писательской дѣятельности автора и должно остаться цѣнной страницей въ его біографіи.

«До осени 1846 года», сообщалъ Островскій,—мною написано было много сценъ изъ купеческаго быта....Комедія («*Свои люди—сочтемся*») въ общихъ чертахъ была уже задумана и нѣкоторыя сцены набросаны; многимъ лицамъ я разсказывалъ идею и читалъ нѣкоторыя подробности....Осенью 1846 года пришелъ ко мнѣ г. Горевъ; я прочелъ ему написанныя мною «*Семейныя сцены*» (позже—*Семейная картина*) и разсказалъ сюжетъ своей пьесы. Онъ предложилъ начать обдѣлку сюжета вмѣстѣ: я согласился—и мы занимались три или четыре вечера (т. е. г. Горевъ писалъ, а я большею частью диктовалъ). Въ послѣдній вечеръ г. Горевъ объявилъ мнѣ, что онъ долженъ ѣхать изъ Москвы. Тѣмъ и ограничилось его сотрудничество».

«До 1847 года я не принимался за комедію; весною же (точнѣе въ *самомъ началѣ*) того года я началъ обработку пьесы по измѣненному мною плану и поспѣшилъ напечатать написанное съ г. Горевымъ.... Нѣсколькихъ строчекъ, нѣсколькихъ фразъ г. Горева я не желалъ присвоить себѣ и объявилъ объ его сотрудничествѣ, подписавъ въ его отсутствіе сцены и за себя и за него».

Вскорѣ состоялось извѣстное намъ чтеніе сценъ у Шевырева. Островскій снова принялся за комедію и, по обыкновенію, снова обращался къ совѣтамъ и мнѣніямъ другихъ.

«Въ продолженіе 1847, 1848 и половины 1849 года», разсказываетъ онъ, «я писалъ свою комедію отдѣльными сценами на глазахъ своихъ друзей, постоянно читалъ имъ каждую сцену, совѣтовался съ ними о каждомъ выраженіи, исправлялъ, передѣлывалъ, нѣкоторыя сцены оставлялъ вовсе, другія замѣнялъ новыми, во время болѣзни, не будучи въ состояніи писать, диктовалъ четвертый актъ; написанная прежде сцена, по новому плану, вошла въ третье дѣйствіе».

Эта полемика происходила уже въ 1856 году, когда комедія «*Свои люди—сочтемся*» появилась отдѣльнымъ изданіемъ. Островскій успѣлъ написать цѣлый рядъ другихъ произведеній и блистательно опровергнуть устную сплетню, не прибѣгая ни къ какимъ печатнымъ объясненіямъ. Но газетная клевета требовала отпора,—и не только по поводу первой комедіи. Въ томъ же 1856 году въ *Современникѣ* была перепечатана «*Семейная картина*», появившаяся раньше въ *Московскомъ Городскомъ Листкѣ* подъ именемъ «*Картина семейнаго счастья*». Въ *Листкѣ* «*Картина*» не имѣла никакой подписи, въ *Современникѣ*—подъ ней стояло—*А. Островскій*. Фельетонистъ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей* поспѣшилъ выразить изумленіе: почему *Современникъ* согласился печатать пьесу съ одной подписью, въ то время когда раньше та же пьеса была напечатана съ двумя подписями? Островскій отвѣчалъ письмомъ въ редакцію *Современника*, возстановляя истину. Но вскорѣ потребовался и еще отвѣтъ. *Вѣдомости Московской Городской Полиціи* недоумѣвали, почему *Современникъ* приписалъ Островскому пьесу, неподписанную раньше ничьимъ именемъ? «Не произошла ли», спрашивала газета, «и здѣсь какая либо ошибка?»

Островскій на этотъ разъ утратилъ спокойствіе духа и отвѣтилъ рѣзкимъ объясненіемъ: «На эту статью», писалъ онъ, «обличающую въ авторѣ, скрывшемъ свое имя, отсутствіе всякихъ приличій, необходимыхъ образованному человѣку, я скажу с[illegible]ве:

Современникъ напечаталъ мое имя подъ пьесой потому, что *я подписалъ* его, потому что нѣтъ никакого повода и никто не можетъ сомнѣваться въ принадлежности мнѣ статьи, по крайней мѣрѣ, печатно, если подписана подъ ней фамилія... Гг. фельетонисты (*литературные башибузуки*, по выраженію *Русскаго Вѣстника*) увлекаются своею необузданностью до того, что забываютъ не только законы приличія, но и тѣ законы, которые въ нашемъ отечествѣ ограждаютъ личность и собственность каждаго. Не думайте, гг., чтобы литераторъ, честно служащій литературному дѣлу, позволилъ вамъ безнаказанно играть своимъ именемъ».

Этимъ приключеніемъ окончились посягательства недруговъ и легкомысленныхъ фельетонистовъ на писательскую честь Островскаго. Онъ и впослѣдствіи неоднократно вступалъ въ сотрудничество съ другими драматургами,—но уже ни разу больше не высказывалось подозрѣніе въ способности прославленнаго автора—присвоить себѣ чужой трудъ и талантъ.

VII.

Первая комедія, потребовавшая отъ художника столь продолжительной работы, будто изощрила его дарованіе и окрылила его энергію. Въ томъ же 1850 году въ *Москвитянинѣ* появляется «*Утро молодого человѣка*», и авторъ начинаетъ работать надъ новой комедіей «*Бѣдная невѣста*». На работу уходитъ весь 1851 годъ,—но она поглощаетъ не все время Островскаго. Онъ вынужденъ добывать средства другимъ трудомъ, помимо художественнаго. Погодину нѣтъ никакого дѣла до условій творчества. Крайне скупой вообще въ издательскихъ разсчетахъ—онъ не дѣлаетъ исключенія и для своего главнаго сотрудника. За комедію «*Свои люди—сочтемся*» онъ заплатилъ такой гонораръ, что Островскій впослѣдствіи даже стыдился и говорить о немъ. Плата 15 рублей за печатный листъ считалась у Погодина предѣломъ всѣхъ вожделѣній его сотрудниковъ,—притомъ еще семейныхъ, съ холостыхъ дѣлалась скидка, и они должны были довольствоваться половиной высшаго вознагражденія. Но выдача даже и этихъ скромныхъ суммъ производилась туго, сопровождалась редакторскими проповѣдями на счетъ расточительности и бережливости. Григорьевъ, въ одну изъ многочисленныхъ размолвокъ съ прижимистымъ издателемъ, обмолвился очень вѣрной характеристикой своего хозяина:

«Въ вашемъ превосходительствѣ глубоко укоренена мысль, что человѣка надобно держать вамъ въ черномъ тѣлѣ, чтобы онъ былъ полезенъ».

И Островскій именно и пребывалъ въ этомъ тѣлѣ. Онъ читалъ статьи для журнала, держалъ корректуру и ради этой работы ежедневно путешествовалъ на Дѣвичье поле, совершая въ одинъ конецъ не меньше шести верстъ. Такъ зарабатывалъ хлѣбъ насущный писатель, провозглашаемый на страницахъ того же *Москвитянина* глашатаемъ *новаго слова* и общепризнанный авторъ блестящихъ комедій! Нужда неотступно преслѣдовала его, нерѣдко доводила до отчаянія, особенно предъ наступленіемъ праздниковъ, требовавшихъ лишнихъ расходовъ. Тогда несчастный знаменитый драматургъ писалъ такія письма своимъ пріятелямъ: «Сами знаете, въ какомъ я положеніи нахожусь. Къ такому празднику, когда расходы удесятерятся, быть совершенно безъ копѣйки—вещь очень непріятная. Я не знаю, что мнѣ дѣлать. Я просто теряю голову».

И въ разгаръ такой нужды, можно сказать—лишенія, въ *Москвитянинѣ* печатается «*Бѣдная невѣста*». Григорьевъ окончательно убѣждается, что Островскій создалъ *новое слово*. Правда,—слишкомъ восторженный критикъ не успѣваетъ объяснить вполнѣ точно и общедоступно,—въ чемъ заключается это *новое слово*? Въ порывѣ восхищеній Григорьевъ славословилъ, изрекалъ прорицательскія опредѣленія, рѣялъ въ нѣкоемъ золотистомъ и розовомъ туманѣ. Самыя рѣшительныя заявленія критика не заходили дальше слѣдующихъ откровеній:

«Новое слово Островскаго есть самое старое слово—народность: новое отношеніе есть только прямое, чистое, непосредственное отношеніе къ жизни».

Въ другой разъ это отношеніе критикъ называетъ «идеальнымъ міросозерцаціемъ съ особеннымъ оттѣнкомъ», а оттѣнокъ этотъ ничто иное, какъ «коренное русское мірозерцаніе, здравое и спокойное, юмористическое безъ болѣзненности, прямое безъ увлеченія въ ту или другую крайность, идеальное, наконецъ, въ справедливомъ смыслѣ идеализма, безъ фальшивой грандіозности или столько же фальшивой сентиментальности».

Можно признать эти выраженія не столь непроницаемыми, какими ихъ считалъ, напримѣръ, Добролюбовъ. Можно усмотрѣть нѣкоторый опредѣленный смыслъ въ юморѣ безъ болѣзненности, въ идеализмѣ безъ аффектаціи, т. е. въ добродушіи и простотѣ. Но *эти симпатичныя черты* вовсе не образуютъ міросозерцанія, онѣ *скорѣе свидѣтельствуютъ* о темпераментѣ идеалиста, чѣмъ о содер-

жаніи идеализма. Ими можетъ быть одаренъ писатель, нисколько не похожій на Островскаго по природѣ и таланту. Развѣ юморъ Гоголя болѣзненный и развѣ этотъ художникъ страдаетъ грандіозностью и сентиментальностью? Добродушія у Гоголя, какъ художника, во всякомъ случаѣ не меньше, чѣмъ у автора комедій «*Свои люди—сочтемся*» и «*Бѣдная невѣста*».

Григорьеву до конца не удалось выполнить самую существенную задачу, возникавшую для критики по поводу произведеній Островскаго,—именно извлечь жизненный смыслъ изъ фактовъ его творчества. Задачу эту пришлось разрѣшить «западнику»—Добролюбову въ приснопамятныхъ статьяхъ о *Темномъ царствѣ*.

«*Бѣдная невѣста*» любопытна и въ другомъ отношеніи,—независимо отъ восторговъ московской критики. Комедія полна автобіографическимъ содержаніемъ. Вполнѣ оно не опредѣлено до сихъ поръ,—но фактъ внѣ сомнѣнія «Бѣдная невѣста» комедіи—героиня юношескаго увлеченія самого автора. Не смотря на тяжелую трудовую жизнь, молодой писатель не унывалъ. Онъ усердно посѣщалъ знакомыхъ, старался возможно тщательнѣе одѣться и даже Погодинскій гонораръ за «*Свои люди—сочтемся*» истратилъ на модный костюмъ. Естественно,—сердце его не могло избѣгнуть многочисленныхъ искушеній—при столь быстрой и громкой славѣ. Островскій увлекся,—предметъ увлеченія—интеллигентная бѣдная дѣвушка, внѣшними условіями своей жизни напоминавшая положеніе Маріи Андреевны въ комедіи «*Бѣдная невѣста*». Сохранилось стихотвореніе, посвященное Островскимъ своей героинѣ. Въ стихотвореніи описывается балъ, иронически изображаются барышни, кавалеры, маменьки, но—

Вотъ межъ всѣхъ красавицъ бала
Краше всѣхъ одна.
Вижу я, что погибало
Отъ ея сердецъ не мало,
Но грустна она.

—

Для нея толпа пируетъ
И сіяетъ балъ,—
А она негрижируетъ
Что ее ангажируетъ
Чуть не генералъ.

—

Геній думъ ее объемлетъ
И молчатъ уста.
И она такъ сладко дремлетъ,
И душой послушной внемлетъ,
Что поетъ мечта.

Какъ все пусто! То ли дѣло,—
Какъ въ ночной тиши
Милый другъ съ улыбкой смѣлой
Скажетъ въ залѣ опустѣлой
Слово отъ души.

—

Снятся ей другія рѣчи....
Дворъ покрыла мгла....
И, накинувъ шаль на плечи,
Для давно желанной встрѣчи
Въ садъ пошла она....

—

Островскій, столь близко и сердечно связанный со своимъ произведеніемъ, тщательно работалъ надъ нимъ. Комедія была окончена,—но авторъ все еще боялся выпускать ее въ свѣтъ, находилъ нужнымъ «подкрасить» ее нѣсколько, чтобы не краснѣть за нее. Сначала Островскій рѣшился напечатать только отрывокъ въ литературномъ сборникѣ *Раутъ*, потомъ въ декабрѣ 1851 года прочиталъ всю комедію въ одну изъ субботъ гр. Ростопчиной. Среди слушателей находился Шевыревъ; чтеніе произвело на него сильное впечатлѣніе, и онъ поспѣшилъ подѣлиться своимъ мнѣніемъ съ Погодинымъ. Гр. Ростопчина также восторгалась. Эти вѣсти дошли до Писемскаго, жившаго въ Костромѣ,—и онъ написалъ Погодину: «Сейчасъ получилъ письмо отъ Островскаго... Радуюсь его успѣху и заочно восклицаю: Ура!!! Выдирай наши!!!»

Слава Островскаго, слѣдовательно, упрочивалась съ каждымъ его новымъ произведеніемъ. Западники также признали исключительную талантливость московскаго драматурга. Правда, они не раздѣляли восторговъ Аполлона Григорьева,—но первостепенный современный художникъ изъ западническаго лагеря—Тургеневъ—именно по поводу «*Бѣдной невѣсты*» объявилъ талантъ Островскаго «замѣчательнымъ». Тургеневъ находилъ въ комедіи немало недостатковъ, укорялъ автора особенно въ пристрастіи къ утомительнымъ частностямъ и мелочамъ каждаго отдѣльнаго характера,—но всѣ укоризны оканчивались заявленіемъ, что публика ждетъ отъ автора комедіи «*Свои люди—сочтемся*»—«необыкновеннаго».

Островскій могъ быть доволенъ такимъ успѣхомъ, встрѣтившимъ его на первыхъ же шагахъ литературной дѣятельности. Но, мы знаемъ, авторъ признавалъ въ себѣ преимущественно драматическій талантъ, считалъ своимъ призваніемъ—писать комедіи и драмы. Но этого рода произведенія пишутся не только для печати *и для чтенія; ихъ прямое* назначеніе—сцена, онѣ должны имѣть *прежде всего зрителей*,—и ихъ-то до сихъ поръ не было у драма-

турга, успѣвшаго стать знаменитымъ и не видѣвшаго еще ни одной своей пьесы на сценѣ.

Фактъ неестественный и для таланта писателя невыносимо-мучительный! Онъ тѣмъ сильнѣе долженъ былъ угнетать Островскаго, что среди его восторженныхъ почитателей и друзей находился первостепенный артистъ современной московской сцены—П. М. Садовскій. Онъ вмѣстѣ съ авторомъ читалъ его произведенія и онъ, несомнѣнно, съ особенной настойчивостью питалъ въ Островскомъ страстное желаніе—видѣть, наконецъ, свои произведенія на сценѣ. Желаніе осуществилось сравнительно не скоро, — въ январѣ 1853 года, когда Островскій былъ авторомъ уже пяти пьесъ.

VIII.

Островскій кратко и очень скромно отзывается о важномъ событіи въ своей писательской жизни: «Мои пьесы, пишетъ онъ, долго не появлялись на сценѣ. Въ бенефисъ Л. П. Косицкой 14 января 1853 года я испыталъ первыя авторскія тревоги и первый успѣхъ. Шла моя комедія «*Не въ свои сани не садись*»: она первая изъ всѣхъ моихъ пьесъ удостоилась попасть на театральныя подмостки».

Пьеса имѣла громадный успѣхъ, билеты доставались съ трудомъ, и увлеченіе москвичей заставило дирекцію театровъ поставить пьесу и на петербургской сценѣ.

Начальство сначала долго колебалось. Его смущали герои комедіи: безнравственный дворянинъ и рядомъ съ нимъ купецъ. Дирекція особенно страшилась впечатлѣній Государя. Императоръ Николай I страстно любилъ театръ и непремѣнно смотрѣлъ всякую оригинальную пьесу, хотя бы даже одноактную. Несомнѣнно,—онъ не преминулъ бы посѣтить и представленіе комедіи Островскаго,— и начальство не знало, какъ поступить. Но толки въ обществѣ росли съ каждымъ днемъ, пришлось уступить всеобщему интересу,—пьесу поставили.

На второе представленіе пріѣхалъ царь, остался весьма доволенъ спектаклемъ и по окончаніи заявилъ: «Очень мало пьесъ, которыя бы мнѣ доставляли такое удовольствіе, какъ эта. Ce n'est pas une pièce, c'est une leçon—«это не пьеса, а нравственный урокъ». Въ слѣдующее представленіе государь опять пріѣхалъ въ театръ, привезъ съ собой государыню и наслѣдника съ супругой,— *впослѣдствіи и* еще разъ посмотрѣлъ ту же комедію. Благосклон-

ность, повидимому, была вполнѣ внушительная, но она оказала мало вліянія на театральную дирекцію и на цензуру. Отрицательное и даже враждебное отношеніе этихъ учрежденій къ новому таланту обнаружилось одновременно съ его популярностью и нисколько не ослабѣвало съ теченіемъ времени.

Годъ спустя послѣ перваго представленія комедіи «*Не въ свои сани не садись*»—на московской сценѣ появилась «*Бѣдность не порокъ*»—23 января 1854 года. Она окончательно укрѣпила за Островскимъ славу перваго современнаго драматурга. На москвичей комедія произвела громадное впечатлѣніе. Она не сходила со сцены втеченіи всего остального зимняго сезона — до великаго поста и даже отвлекала публику отъ спектаклей Рашели, гостившей въ это время въ Москвѣ. Знаменитая французская артистка принуждена была играть по утрамъ. Такъ сильно оказалось увлеченіе даже московской интеллигенціи, — купечество впервые за все существованіе русскаго театра отозвалось восторженно на талантъ автора и исполненіе артистовъ. Особенно много горячихъ похвалъ пришлось выслушать Садовскому.

Горбуновъ, неразлучный спутникъ Островскаго, разсказываетъ нѣсколько случаевъ, свидѣтельствовавшихъ о живѣйшемъ вниманіи купцовъ къ истинно-русской бытовой комедіи. Одинъ изъ замоскворѣцкихъ обывателей говорилъ Садовскому:

— Ну, Провъ Михайлычъ,—такое ты мнѣ—московскому первой гильдіи купцу Ив. Вас. М-ву,—уваженіе сдѣлалъ, что въ ноги и тебѣ долженъ кланяться. Какъ вышелъ ты, я такъ и ахнулъ! Да я говорю женѣ (увидишь—спроси ее): смотри, говорю,—словно бы это я!... Борода только у тебя покороче была,—ну вотъ, какъ есть! Это, говорю, на меня критика. Даже стыдно стало: сижу въ ложѣ-то, да кругомъ и озираюсь,—не смотрятъ ли, думаю, на меня. Ей-Богу! А какъ заговорилъ ты про тарантасъ, я такъ и покатился! У меня тоже у Макарія случай съ тарантасомъ былъ.

«И онъ разсказалъ, какъ съ Нижегородской ярмарки возвращался онъ въ Москву и три дня не вылѣзалъ изъ тарантаса».

Другой купецъ объяснялъ Садовскому свои впечатлѣнія по поводу роли Любима Торцова столь же откровенно и въ высшей степени лестно для правдиваго авторскаго творчества и для даровитаго исполнителя.

— Вѣрите, Провъ Михайлычъ, я плакалъ. Ей-Богу плакалъ! Какъ подумалъ я, что со всякимъ купцомъ это можетъ случиться... *страсть! Мало у насъ*, по городу, ихъ такихъ ходитъ: ну, подашь *ему,—а чтобы это жалѣть*... А васъ я пожалѣлъ,—именно говорю,

пожалѣлъ. Думаю: Господи, самъ я этому подверженъ былъ,—ну, вдругъ! Вѣрьте Богу, страшно стало! Домъ у меня теперь пустой: одинъ въ немъ существую, какъ перстъ. И чудится мнѣ, что я ужъ и на паперти стою, и руку протягиваю... спасибо, голубчикъ! Многіе, которые изъ нашихъ, можетъ очувствуются. Я теперь, братъ, ничего не пью,—будетъ! Все выпилъ, что мнѣ положено!... Думаю такъ: богадѣльню открыть... Которые теперича старички,—въ Москвѣ много ихъ!—пущай грѣются. Вотъ именно мнѣ эти ваши слова: «какъ я жилъ, какія я дѣла выдѣлывалъ!...» Ну, честное мое слово,—слезы у меня пошли».

Славу Садовскаго раздѣляли и другіе артисты московскаго театра. Для нихъ, можно сказать, началась новая сценическая жизнь. До пьесъ Островскаго они не выходили изъ круга переводныхъ и передѣланныхъ мелодрамъ и водевилей. Только изрѣдка на русской сценѣ появлялось произведеніе, способное возбудить и вдохновить національное русское дарованіе. И талантливѣйшимъ артистамъ бывало часто не подъ силу справиться съ оригинальной бытовой ролью. Навыкъ исключительно на иноземныхъ пьесахъ убивалъ личное творчество исполнителя и окончательно отъучалъ его отъ воспроизведенія русскихъ характеровъ. Извѣстно, напримѣръ, въ какомъ затрудненіи оказались даже такіе артисты, какъ Щепкинъ и Мочаловъ, при первой постановкѣ на сценѣ «*Горя отъ ума*».

Даровитѣйшіе актеры московской сцены долго не могли освоиться съ фигурами Фамусова и Чацкаго. Щепкинъ дошелъ до совершенства въ исполненіи своей роли послѣ тщательнаго изученія реальнаго прототипа Фамусова — лично-знакомаго ему московскаго «туза». Та же судьба грозила и пьесамъ Островскаго, потому что общій характеръ репертуара русскихъ театровъ мало измѣнился со времени «*Горя отъ ума*» и «*Ревизора*».

Но эти комедіи явились блестящими единичными исключеніями,—Островскій создавалъ цѣлую самостоятельную полосу въ жизни театра, писалъ одну пьесу за другой—русскаго бытового содержанія,—очевидно,—и на сценѣ должна была возникнуть такая же національная школа искусства. Это не могло совершиться безъ всякихъ затрудненій, безъ протеста со стороны представителей исконныхъ театральныхъ порядковъ, прочно установившагося сценическаго вкуса.

И могучій талантъ Островскаго встрѣтилъ или простое непониманіе или даже явную вражду,—прежде всего среди артистовъ. И на сторонѣ не понимающихъ или враждебныхъ—оказались и

теперь артисты первостепенныхъ талантовъ. Во главѣ стоялъ тотъ же Щепкинъ.

Среди московскихъ актёровъ образовались двѣ партіи. Собственно принципіальныхъ поводовъ для взаимной вражды у актеровъ не было. Весь вопросъ сводился къ блестящимъ успѣхамъ однихъ—въ новыхъ пьесахъ и къ неспособности другихъ—играть роли Островскаго столь же просто и удачно, какъ игрались роли въ пьесахъ нижегородско-французскаго репертуара.

Вожаками консервативной партіи явились—Шумскій, Самаринъ и особенно Щепкинъ. Споръ для видимости старались поставить на почву современныхъ общественно-литературныхъ партійныхъ счетовъ—западническихъ и славянофильскихъ. Попытка не могла имѣть никакого серьезнаго значенія: именно западническая партія, въ лицѣ Добролюбова, явилась самой проницательной и благожелательной толковательницей произведеній Островскаго. Актеры просто негодовали за свой профессіональный счетъ, не находя себѣ лавровъ въ новыхъ роляхъ.

Самаринъ—блестящій первый любовникъ—не могъ найти въ себѣ ни таланта, ни воли усвоить глубоко-правдивое, но извнѣ мало-эффектное и слишкомъ сложное творчество молодого драматурга. Шумскій, считавшійся въ то время звѣздой первой величины—въ водевиляхъ, также не желалъ идти на уступки изъ-за сѣрыхъ персонажей замоскворѣцкаго царства.

Между артистами безпрестанно происходили пререканія. Закулисный міръ волновался, негодовалъ, доказывалъ, вообще,—жилъ горячей дѣйствительно-литературной жизнью, хотя и не всегда возбуждаемый искренней любовью къ литературѣ и искусству.

Шумскій и Щепкинъ усердно ехидствовали надъ типами Островскаго.—Надѣть на актера поддевку да смазные сапоги, говорилъ Шумскій, еще не значитъ сказать новое слово.

Щепкинъ въ свою очередь острилъ:

— Бѣдность-то не порокъ, да вѣдь и пьянство не добродѣтель!

Сверхъ вѣры восторженные отзывы Григорьева, возводившаго въ перлъ нравственной красоты Любима Торцова, давали благодарную пищу закулисному остроумію. Щепкинъ даже отказался играть роль Коршунова въ комедіи «*Бѣдность не порокъ*», рѣзко порицалъ самую пьесу, а роль Любима Торцова именовалъ «грязной». Несомнѣнно,—въ этой критикѣ звучала опять чисто-профессіональная ревность къ громкимъ успѣхамъ Садовскаго, создавшаго *роль. Это вполнѣ* очевидно изъ собственныхъ признаній Щепкина.

Лавры товарища, видимо, лишали его покоя. Играть Любима

Торцова въ Москвѣ было бы не по-товарищески, а главное—слишкомъ рискованно. Щепкинъ воспользовался Нижегородской ярмаркой и рѣшился выступить въ роли Любима Торцова предъ всероссійскимъ ярмарочнымъ купечествомъ, особенно тароватымъ на восторги и выселыя впечатлѣнія.

И Щепкинъ игралъ. Въ письмѣ къ сыну онъ давалъ слѣдующій отчетъ о событіи: «Я выучилъ лѣтомъ роль Любима Торцова изъ комедіи «*Бѣдность не порокъ*» Островскаго, въ которой Садовскій такъ хорошъ. Сыграть мнѣ ее нужно было во что бы то ни стало. Это являлось потребностью моей души. Въ Москвѣ я не могъ ее сыграть, потому что это было бы не по-товарищески. Я какъ будто бы сталъ просить себѣ 40 руб. разовыхъ, между тѣмъ Садовскій еще не получаетъ и полнаго оклада. Роль сама по себѣ грязна, но въ ней есть свѣтлыя стороны. Моя старая голова вѣрно поняла; разогрѣтое воображеніе затронуло невѣдомыя дотолѣ струны, которыя сильно зазвучали и подѣйствовали на сердце зрителя. П. В. Анненковъ хотѣлъ написать статью, которая расшевелила бы Садовскаго. Онъ, бѣдный, успокоился на лаврахъ, думая, что искусство дальше идти не можетъ, что̀ при его талантѣ очень и очень обидно».

Это уже было въ концѣ славной дѣятельности Щепкина. Онъ окончательно былъ побѣжденъ талантомъ Островскаго, самъ первый протянулъ ему руку примиренія, на одномъ литературномъ утрѣ публично обнялъ драматурга, проливалъ потоки слезъ. Островскій чувствовалъ себя крайне тронутымъ,—торжество его привѣтствовалъ особенно горячо Садовскій.

Онъ съ самаго начала явился восторженнымъ сторонникомъ молодого писателя. Онъ былъ созданъ для новыхъ типовъ, съ каждой ролью его талантъ росъ и углублялся. Артистъ весь отдался изученію пьесъ Островскаго и только изрѣдка удѣлялъ свой трудъ на дешевыя роли стараго репертуара. Вся почвенная Москва, до тѣхъ поръ едва отзывавшаяся на литературныя явленія и смотрѣвшая на театръ какъ на забаву и междудѣлье, теперь увидѣла и поняла въ Садовскомъ великую артистическую силу. Имя его пріобрѣло громадную популярность въ замоскворѣцкихъ палестинахъ, и мы видѣли, какое глубокое просвѣтляющее вліяніе оказывала его игра на Торцовыхъ Московскаго гостинаго ряда.

Садовскій считалъ своимъ нравственнымъ долгомъ защищать любимаго драматурга предъ товарищами. У него нашлось не мало сторонниковъ, столь же увлеченныхъ ролями Островскаго: Степановъ, превосходно игравшій роль Маломальскаго, Васильевъ, вызывавшій *бурные* апплодисменты въ роли Бородкина, Косицкая, Ва-

сильева, сестры Бороздины, изъ водевильныхъ гризетокъ преобразившіяся въ подлинныхъ русскихъ дѣвицъ: всѣ они ревностно оберегали славу своего автора.

За кулисами часто происходили забавныя сцены. Особенно отличались Садовскій и Степановъ.

Однажды Щепкинъ особенно горячо нападалъ на комедіи Островскаго, вышелъ изъ себя, стучалъ кулакомъ по столу, костылемъ въ полъ. Шумскій вторилъ ему,—Садовскій, наконецъ, не выдержалъ и съ обычнымъ юморомъ высказалъ свой приговоръ:

— Ну, положимъ, Михайло Семенычъ — западникъ: его Грановскій заряжаетъ, а какой же Шумскій западникъ?—Онъ просто Чесноковъ.

Соображеніе не особенно убѣдительное, все равно какую бы природную фамилію ни носилъ Шумскій,—но острота быстро распространилась и имѣла успѣхъ: правда была на сторонѣ Садовскаго, и, мы видѣли, ее призналъ, наконецъ, Щепкинъ.

Не отставалъ отъ Садовскаго и Степановъ. За роль Малобальскаго — хозяина трактира — онъ также удостоился благодарности людей вполнѣ свѣдущихъ. Очевидецъ—Горбуновъ—разсказываетъ слѣдующій случай.

Вскорѣ послѣ перваго представленія комедіи «*Не въ свои сани не садись*» Степановъ и Горбуновъ зашли пить чай въ трактиръ. Выпили «четыре пары» — такъ въ то время опредѣлялась порція чаю,—Степановъ отдалъ половому деньги. Половой черезъ минуту принесъ ихъ обратно и положилъ на столъ.

— Что значитъ?—съ удивленіемъ спросилъ Степановъ.

— Приказчикъ не беретъ,—съ улыбкой отвѣчалъ половой.

— Почему?

— Не могу знать,—не беретъ. Ту причину пригоняетъ...

— Извините, батюшка, мы съ хозяевъ не беремъ, — сказалъ почтительно кланяясь, подошедшій приказчикъ.

— Развѣ я хозяинъ?

— Ужъ такой-то хозяинъ, что лучше требовать нельзя! Въ точности изволили представить! И господинъ Васильевъ тоже: «кипяточку!»—на удивленіе.

— За комплиментъ благодарю, а деньги все-таки возьми.

И вотъ этотъ самый Степановъ подсмѣивался надъ театральными «западниками».

— Михайлу Семенычу съ Шумскимъ Островскій поддевки-то *не по плечу шьетъ*, говорилъ Степановъ, да и смазные сапоги узко *дѣлаетъ: вотъ они оба* и сердятся.

Но въ то время, когда талантъ однихъ артистовъ находилъ себѣ благодарнѣйшую пищу въ пьесахъ Островскаго, росъ и мужалъ вмѣстѣ съ дарованіемъ драматурга,—таланты другихъ блѣднѣли и обнаруживали свое сравнительно мелкое поверхностное содержаніе. Островскій давалъ образцы глубокаго жизненнаго комизма, требовалъ отъ исполнителей вдумчиваго психологическаго анализа, въ его пьесахъ нельзя было ограничиться смѣхотворными словечками и забавными сценическими фокусами, — требовалось изучить натуру человѣка и воспроизвести ее разносторонне и художественно. Садовскій и нѣкоторые другіе оказались на высотѣ задачи, — другимъ комическимъ актерамъ пришлось невольно умалиться и даже отчасти стушеваться предъ новымъ жанромъ «высокой комедіи».

Такая участь постигла Живокини.

Артистъ былъ неподражаемъ въ смѣхотворныхъ сценическихъ пустякахъ, превосходно игралъ роль старинныхъ шутовъ, не стѣснявшихся текстомъ пьесъ, свободно вставлявшихъ монологи и реплики собственнаго сочиненія, вступавшихъ даже въ непосредственный разговоръ съ публикой. Все это съ большимъ успѣхомъ продѣлывалъ Живокини, доходилъ даже до передразниванія инструментовъ изъ оркестра, до укоризнъ музыкантамъ. И все это публика слушала и воспринимала съ благодарностью. У Живокини были и подражатели и соревнователи среди товарищей. Для нихъ пьесы Островскаго представляли часто непреодолимыя трудности. Во всякой роли Живокини непремѣнно старался сыграть возможно забавнѣе, во что бы то ни стало посмѣшить приказчиковъ изъ Ножовой линіи, выйти на сцену въ самомъ смѣхотворномъ костюмѣ и гриммѣ... Все это совершенно не отвѣчало ни намѣреніямъ драматурга, ни характерамъ его героевъ,—и Живокини пришлось помириться съ своей неприспособленностью къ новому репертуару.

Но всевозможныя актерскія недоразумѣнія не могли сами по себѣ причинить большого ущерба ни таланту, ни славѣ Островскаго. Драматургъ съ первыхъ же шаговъ нашелъ отзывчивую публику,—и именно въ той средѣ, куда онъ направлялъ свое обличительное и поучительное слово. Разсказанные нами эпизоды имѣли большое общественное значеніе. Они показывали—чего можетъ достигнуть театръ дѣйствительно-художественными и жизненными зрѣлищами даже среди менѣе всего, повидимому, культурныхъ зрителей. Островскій пріобрѣталъ въ полномъ смыслѣ народную и завидную славу, подъ вліяніемъ его таланта театръ выросталъ — въ учрежденіе просвѣтительное и идейное, первобытная публика начинала понимать смыслъ писательской дѣятельности и смотрѣть на

театръ другими глазами, чѣмъ заставляли таланты, подобные Живокини.

Не встрѣтилъ Островскій сильныхъ и упорныхъ враговъ и въ критикѣ. Многіе московскіе «западники» съ самаго начала признали его выдающееся дарованіе, вскорѣ — съ 1858 года — Островскій сталъ сотрудникомъ главнаго западническаго журнала—*Современникъ*, а нѣсколько лѣтъ спустя явились знаменитыя статьи Добролюбова: Островскій могъ считать себя признаннымъ писателемъ—во всѣхъ современныхъ литературныхъ лагеряхъ.

Больше всего огорченій драматургу пришлось претерпѣть отъ оффиціальныхъ учрежденій—театральной дирекціи и цензуры,—и дирекціи—въ этомъ отношеніи слѣдуетъ даже отдать преимущество предъ цензурнымъ вѣдомствомъ.

IX.

Въ Москвѣ, гдѣ комедіи Островскаго пользовались неизмѣнно шумнымъ успѣхомъ, репертуаромъ завѣдывалъ Верстовскій. Это былъ человѣкъ несомнѣнно умный и образованный,—но образованіе его почерпнуто было исключительно изъ французскихъ источниковъ. Послѣднимъ словомъ драмы Верстовскій считалъ французскій классицизмъ. Онъ не могъ помириться съ мыслью, чтобы маркизы и прочіе изящные господа въ пудрѣ и парикахъ уступили мѣсто невоспитаннымъ купцамъ, мѣщанамъ и даже мужикамъ. Верстовскій кратко и сильно выражалъ свое отношеніе къ новымъ пьесамъ: «сцена провоняла отъ полушубковъ Островскаго». Естественно, насколько зависѣло отъ дирекціи, — на сценѣ скорѣе могли появиться какая-нибудь французская мелодрама и водевиль, чѣмъ комедія изъ русской жизни.

Такъ это и происходило: Донъ Сезаръ де-Базанъ счастливо соперничалъ съ героями Островскаго. Равнодушіе къ нимъ со стороны театральнаго начальства доходило до такой степени, что дирекція отказывалась даже отъ самыхъ ничтожныхъ расходовъ на постановку новыхъ пьесъ Островскаго: актеры - бенефиціанты, случалось, на свой счетъ дѣлали декорацію садовой бесѣдки. Такъ было въ Москвѣ. Не благопріятнѣе отнеслись къ московскому драматургу и петербургскіе театральные распорядители.

На петербургской сценѣ также процвѣтали мелодрамы и водевили. *Кукольникъ*—авторъ трагедій въ классическомъ родѣ, сочинитель *ходульныхъ* раздирательныхъ мелодрамъ, считался геніемъ,

—и артисты здѣсь гораздо холоднѣе встрѣтили новый талантъ, чѣмъ въ Москвѣ. Здѣсь только весьма не многіе сочувствовали русскому сценическому реализму, какой вводили восторженные поклонники Островскаго. Садовскій старался до послѣднихъ мелочей жизненно и точно воспроизвести московскаго купеческаго пропойцу въ роли Любима Торцова, досталъ даже и надѣлъ на себя особый костюмъ, извѣстный у московскихъ сидѣльцевъ подъ именемъ «срамъ-пальто». Васильевъ съ такой же тщательностью разучивалъ пріемы рядского щеголя, парня съ молодцовскими ухватками и ухорскими вывертами. Актрисы изъ водевильныхъ вертушекъ преображались въ скромныхъ и бойкихъ замоскворѣцкихъ красавицъ, своеобразно увлекательныхъ и находчивыхъ.

Совершенствоваться въ этомъ направленіи московскимъ артистамъ не представляло особенно трудной задачи: подлинники всегда были на лицо. Въ Петербургѣ не было такой благодарной и типичной среды для изученія ролей Островскаго по самымъ явленіямъ жизни, — и актеры сторонились отъ «новаго слова» московскаго автора. Только Мартыновъ сразу оцѣнилъ талантъ Островскаго. Въ новыхъ пьесахъ геніальный артистъ нашелъ широкое поприще для своего самобытнаго и разносторонняго дарованія,—для тонкаго художественнаго юмора и для глубокаго жизненнаго трагизма. Онъ создалъ роли Бальзаминова, Тихона въ «*Грозѣ*» и много другихъ. Впослѣдствіи дружескія отношенія связывали его съ Островскимъ. Но Мартыновъ—на петербургской сценѣ—являлся единственнымъ высокодаровитымъ пророкомъ Островскаго.

Цензура съ необыкновеннымъ усердіемъ помогала театральнымъ властнымъ противникамъ драматурга. Ему пришлось перетерпѣть многочисленныя и тягостныя мытарства, — весьма часто совершенно непостижимыя, такъ какъ придирчивость цензуры являлась случайной или преднамѣренной жестокостью и противорѣчила отношенію высшей власти къ пьесамъ Островскаго.

До какой степени запрещеніе и разрѣшеніе пьесъ Островскаго совершалось произвольно и зависѣло отъ счастливаго стеченія обстоятельствъ, показываютъ разсказы артиста Бурдина — близкаго друга Островскаго. Напримѣръ,—любопытна исторія съ «*Картиной семейнаго счастья*»,—пьесой едва-ли не самой скромной изъ всѣхъ произведеній Островскаго.

Бурдинъ для одного изъ своихъ бенефисовъ представилъ въ цензуру четыре пьесы. Изъ нихъ ни одна не была одобрена. Бурдинъ отправился къ директору театра — Гедеонову, и разсказалъ *ему свое горе.*

— А зачѣмъ ты выбираешь такія пьесы? — спросилъ Гедеоновъ.

Бурдинъ отвѣтилъ, что у цензоровъ такіе особенные взгляды, къ которымъ невозможно приладиться, и ни за одну пьесу нельзя поручиться, будетъ-ли она одобрена или запрещена?

— Что же я могу сдѣлать?—снова спросилъ Гедеоновъ.

— Вы, ваше превосходительство, отвѣчалъ Бурдинъ, очень хороши съ Леонтьемъ Васильевичемъ (Дуббельтъ, начальникъ III-го отдѣленія того времени, завѣдывавшій драматической цензурой): вамъ достаточно черкнуть ему два слова, и онъ разрѣшитъ хоть одну пьесу.

И Гедеоновъ написалъ Дуббельту, по просьбѣ Бурдина, — о «*Картинѣ семейнаго счастья*». Бурдинъ отправился къ начальнику III-го отдѣленія, и между ними произошелъ слѣдующій историческій разговоръ.

Дуббельтъ на пріемахъ былъ человѣкъ очень любезный и вѣжливый.

— Чѣмъ могу быть вамъ полезнымъ, мой любезный другъ?— спросилъ онъ у артиста.

— У меня горе, ваше превосходительство: бенефисъ на носу, а всѣ представленныя мною пьесы не одобрены.

— Ай, ай, ай! Какъ это вы, господа, выбираете такія пьесы, которыя мы не можемъ одобрить... все непремѣнно съ тенденціями!

— Никакихъ тенденцій, ваше превосходительство; но цензура такъ требовательна, что положительно не знаешь, что̀ и выбрать!

— Какую же пьесу вы желаете, чтобы я вамъ дозволилъ?

— «*Семейную картину*» Островскаго.

— Въ ней нѣтъ ничего политическаго?

— Рѣшительно ничего; это — небольшая сценка изъ купеческаго быта.

— А противъ религіи?

— Какъ это можно, ваше превосходительство?

— А противъ общества?

— Помилуйте, — это просто характерная бытовая картинка. Дуббельтъ позвонилъ. «Позвать ко мнѣ Гедерштерна, и чтобы онъ принесъ съ собою пьесу «*Картина семейнаго счастья*» Островскаго».

Является высокая, сухая, безстрастная фигура каммергера *Гедерштерна съ пьесой* и толстой книгой.

— *Вотъ господинъ* Бурдинъ проситъ разрѣшить ему для бе-

нефиса неодобренную вами пьесу Островскаго, — такъ я ее дозволяю.

— Но, ваше превосходительство, началъ было Гедерштернъ.

— Дозволяю — слышите!

— Но, ваше превосходительство, въ книгѣ экстрактовъ извольте прочесть...

— А, Боже мой! Я сказалъ, что дозволяю! Подайте пьесу.

Гедерштернъ подалъ пьесу, и Дубельтъ сверхъ написалъ: «Дозволяется. Генералъ-лейтенантъ Дубельтъ», — и не зачеркнулъ даже написаннаго прежде: «Запрещается. Генералъ-лейтенантъ Дубельтъ». Въ этомъ видѣ, прибавляетъ Бурдинъ, теперь хранится эта пьеса въ театральной библіотекѣ.

Подобныя исторіи происходили безпрестанно и нѣкоторыя кончались не менѣе любопытно.

Напримѣръ, комедія «*Воспитанница*» вызвала чрезвычайно строгія замѣчанія въ томъ же III отдѣленіи. Въ пьесѣ было открыто «вредное направленіе», ее признали совершенно недопустимой на сценѣ. По мнѣнію начальства, — авторъ издѣвался надъ дворянствомъ, освобождавшимъ крестьянъ и приносившимъ огромныя жертвы. Начальнику III-го отдѣленія, генералу Потапову, указали, что въ комедіи совсѣмъ не затрогивается крестьянскій вопросъ и авторъ вовсе не касается благородныхъ чувствъ дворянства.

Генералъ отвѣтилъ:

— Конечно, ничего прямо не говорится, но мы не такъ просты, чтобы не умѣть читать между строкъ.

Такъ пьеса и осталась подъ запретомъ, — до счастливаго случая. Временно исправляющимъ должность начальника III-го отдѣленія былъ назначенъ генералъ Анненковъ, братъ извѣстнаго писателя—П. В. Анненкова.

— Пьеса Тургенева «*Нахлѣбникъ*» была подъ запрещеніемъ. П. В. Анненковъ, какъ другъ Тургенева, просилъ брата разрѣшить эту комедію.

— Съ удовольствіемъ, отвѣчалъ онъ,—и не только эту, а всѣ тѣ, которыя ты признаешь нужными, только присылай поскорѣе, потому что на этомъ мѣстѣ я останусь очень недолго.

П. В. Анненковъ послалъ ему нѣсколько пьесъ, въ числѣ ихъ находилась и «*Воспитанница*». И вотъ такимъ путемъ она попала на сцену.

Еще удивительнѣе приключеніе съ «*Козьмой Мининымъ*». Министръ *народнаго просвѣщенія* Головнинъ призналъ драму «прево-

сходной» и рѣшилъ обратить на нее вниманіе императора Александра II. Государь пожаловалъ Островскому бриллiантовый перстень — за благородныя патріотическія чувства, вдохновившія пьесу.

Но III отдѣленіе осталось при своемъ мнѣніи. Не отрицая патріотическаго содержанія драмы, оно нашло представленіе ея на сценѣ несвоевременнымъ,— и пьеса нѣсколько лѣтъ пролежала въ архивѣ отдѣленія.

Такая же участь постигла «*Доходное мѣсто*». По неизвѣстнымъ причинамъ пьеса была запрещена уже послѣ разрѣшенія и наканунѣ представленія на сценѣ.

И замѣчательно,—эти запрещенія или отмѣнялись такъ же неожиданно и загадочно, какъ и налагались, или уничтожались просто по чьему-либо ходатайству.

Напримѣръ, комедія «*Свои люди—сочтемся*» находилась подъ запретомъ до 1860 года. Послѣ представленія «*Грозы*» въ присутствіи государя директоръ театровъ—Сабуровъ—рѣшился написать письмо шефу жандармовъ князю Долгорукову; пьеса была подвергнута вторичному цензурному разсмотрѣнію. Цензура на этотъ разъ ничего не имѣла противъ допущенія пьесы на сцену,—только потребовала отъ автора—измѣнить конецъ. Порокъ, по соображеніямъ цензуры, необходимо было подвергнуть карѣ въ лицѣ Подхалюзина. И автору пришлось закончить пьесу появленіемъ квартальнаго, разсѣвающаго мечты плута о безнаказанности своихъ продѣлокъ.

Только впослѣдствіи, уже при новыхъ судахъ, оказалось возможнымъ убрать квартальнаго со сцены.

Цензурныя притѣсненія и вражда театральнаго начальства ставили Островскаго въ крайне печальное положеніе. Авторы драматическихъ произведеній не получали съ театровъ платы за постановку своихъ пьесъ. И казенныя сцены платили очень мало и съ исключеніями: именно пьесы, шедшія въ бенефисы артистовъ, безвозмездно становились собственностью театра.

Такъ, напримѣръ, Островскій ничего не получилъ за комедію «*Не въ свои сани не садись*», хотя она прошла сотни разъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ. Въ первый разъ поспектакльную плату Островскій получилъ за «*Бѣдность не порокъ*»—плату чрезвычайно скромную: изъ $^2/_3$ сбора двадцатую часть. Если при этомъ принять во вниманіе, съ какими затрудненіями пьесы Островскаго попадали на сцену, какъ недружелюбно встрѣчала ихъ дирекція,—легко будетъ представить стѣсненное матеріальное положеніе Островскаго,

при всей популярности его имени. Впослѣдствіи онъ употребитъ всѣ усилія—создать учрежденіе, обезпечивающее авторскія права драматическихъ писателей. Но пока ему самому приходится сильно нуждаться и по временамъ даже впадать въ отчаяніе. Нуждой отчасти вызвано и желаніе Островскаго — принять участіе въ такъ называемой «литературной экспедиціи».

X.

Правительственная командировка литераторовъ для изученія мѣстностей Россіи въ бытовомъ и промышленномъ отношеніи—фактъ въ высшей степени замѣчательный въ исторіи русскаго общества. Онъ совпалъ съ началомъ царствованія Александра II и былъ созданъ великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ.

Великій князь былъ однимъ изъ самыхъ искреннихъ сторонниковъ преобразовательнаго движенія. Второй сынъ императора Николая, онъ былъ предназначенъ для морской службы. На этомъ поприщѣ великій князь успѣлъ развить дѣятельность, совершенно неожиданную и, повидимому, не входившую въ кругъ обязанностей и заботъ *генералъ-адмирала*.

Прежде всего онъ наложилъ руку на жестокую язву стараго времени, — на невѣжество, обманы и всевозможныя тайныя преступныя продѣлки чиновниковъ. Онъ потребовалъ безусловной *правды* во всѣхъ служебныхъ отчетахъ, какіе представлялись ему, —и притомъ правда не должна была оставаться тайной канцеляріи. Великій князь желалъ знать подробно внутреннее состояніе Россіи и для изученія его были призваны не чиновники, а лучшіе современные писатели и знатоки народнаго быта — Писемскій, Гончаровъ, Григоровичъ, Потѣхинъ, Аѳанасьевъ-Чужбинскій, Максимовъ. Островскій самъ вызвался принять участіе въ изслѣдованіяхъ. Онъ вошелъ въ соглашеніе съ Потѣхинымъ и подѣлилъ съ нимъ Волгу. Потѣхинъ взялъ себѣ мѣстность отъ устьевъ Оки до Саратова, Островскому достались верховья Волги.

При морскомъ вѣдомствѣ издавался журналъ *Морской Сборникъ*. Великій князь расширилъ содержаніе журнала и допустилъ статьи по самыхъ жгучимъ современнымъ общественнымъ вопросамъ,—о гласномъ судопроизводствѣ, объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній. Въ журналѣ появились сочиненія, не имѣвшія ничего общаго съ морскимъ дѣломъ. Геніальный врачъ и знаменитый педагогъ *Пироговъ помѣстилъ* здѣсь свои статьи — Вопросы жизни, воз-

стававшія противъ жестокости и бездушія старыхъ педагоговъ и учителей. Газеты только и жили перепечатками изъ морского журнала.

Здѣсь же предполагалось печатать и отчеты писателей, отправлявшихся изслѣдовать русскую землю.

Задача предстояла трудная и требовала отъ путешественниковъ особеннаго умѣнья—говорить съ простыми русскими людьми и вызывать ихъ на откровенность. Все, сколько-нибудь напоминавшее власть и начальника, отпугивало самыхъ смѣлыхъ и связывало ихъ языкъ. Такъ происходило особенно въ глухихъ мѣстностяхъ, представлявшихъ именно больше всего интереса для изслѣдователей. Нужна была большая сноровка, простота и находчивость, чтобы даромъ не прогуляться среди повально молчаливыхъ и загадочныхъ людей.

Выгодъ за всѣ труды большихъ не представлялось. Содержаніе было положено очень скромное—по сту рублей въ мѣсяцъ каждому изслѣдователю. Впослѣдствіи оно было увеличено,—но и само дѣло являлось весьма сложнымъ, безпрестанно требовало неожиданныхъ расходовъ,—и писателей могла привлекать преимущественно занимательность самой работы. Наконецъ, — вопросъ о печатаніи отчетовъ въ *Морскомъ Сборникѣ* съ теченіемъ времени принялъ неблагопріятный оборотъ. Рѣшать его досталось морскому ученому комитету. Во главѣ комитета стоялъ адмиралъ Рейнеке, весьма мало понимавшій и цѣнившій вообще литературу и совершенно равнодушный ко всему — за предѣлами спеціальной морской и водяной службы. Онъ рѣшилъ искать въ статьяхъ изслѣдователей и принимать только то, что имѣло непосредственное отношеніе къ водѣ и представляло простой служебный докладъ.

Въ результатѣ комитетъ сталъ отвергать статьи «по литературному достоинству», устранять разсказъ о личныхъ впечатлѣніяхъ, вызванныхъ у автора природой, самобытными чертами быта. Художественная и просто свободная литературная форма изложенія не допускалась, — и авторы должны были искать мѣста своимъ статьямъ въ другихъ изданіяхъ.

Островскій подвергся общей участи. Его отчетъ, «*Путешествіе по Волгѣ отъ истоковъ до Нижняго-Новгорода*» напечатанъ въ *Морскомъ Сборникѣ*, но авторъ былъ слишкомъ художникъ, чтобы удовлетворить канцелярскую редакцію. Отчетъ подвергся измѣненіямъ и сокращеніямъ, вычеркнуто немало художественныхъ подробностей,—а въ нихъ именно и заключалась высшая цѣнность статьи.

Островскій собралъ громадное количество матерьяла. Онъ остал-

ся безъ обработки, благодаря ученому морскому комитету, — но и въ сыромъ видѣ онъ представлялъ поучительный и богатый источникъ свѣдѣній о верховьяхъ Волги.

Островскій приступилъ къ изученію края прежде всего какъ художникъ, отзывчивый на все оригинальное и яркое въ природѣ и въ человѣческомъ быту. Даже въ напечатанномъ отчетѣ вытравить окончательно художественные пріемы судить о предметахъ и людяхъ—не удалось редакторамъ. Постоянно встрѣчаются живыя сцены, жизненные бытовые факты, мѣткія вдохновенныя характеристики, летучія острыя слова.

Любопытно, напримѣръ, свѣдѣніе о нравахъ города Торжка: оно впослѣдствіи пригодилось Островскому и какъ драматургу. У торжковскихъ дѣвушекъ искони ведется обычай — имѣть «предметъ». Это нисколько не считается зазорнымъ, напротивъ—свобода молодежи признается вполнѣ общественнымъ мнѣніемъ торжковскихъ обывателей. Другой обычай — тайный увозъ невѣстъ — не менѣе замѣчателенъ, — и его отмѣтилъ Островскій. Варвара и Кудряшъ являются несомнѣнными отголосками торжковскихъ впечатлѣній.

Помимо нравовъ, — Островскій подмѣчаетъ особенности мѣстныхъ говоровъ, записываетъ оригинальныя выраженія и даже собираетъ матеріалы для словаря нарѣчія приволжскаго населенія. Эти матеріалы наслѣдники Островскаго передадутъ потомъ въ Академію Наукъ. Не забываетъ путешественникъ и красотъ природы, — пользуется каждымъ шагомъ своего пути, какъ глубокій знатокъ русской народной психологіи, какъ страстный любитель родной старины.

Легко представить, какую великую пользу принесло путешествіе художественному таланту Островскаго! Лучшей школы для него нельзя было и представить. Онъ видѣлъ одну изъ самыхъ самобытныхъ историческихъ мѣстностей Россіи — съ древними городами, съ исконно-старинными обычаями и нравами, съ своеобразнымъ прадѣдовскимъ языкомъ. Его поражала безпросвѣтная захолустная глушь, въ срединѣ Россіи, въ какихъ-нибудь шестидесяти верстахъ отъ древняго города Твери. Онъ невольно вспоминалъ не только историческія были давнихъ временъ, но даже сказки: до такой степени кругомъ жизнь была первобытна и неподвижна, — и теперь еще можно кстати повторить выраженіе русской сказки про Ивана Царевича: «Ѣдетъ онъ день до вечера— перекусить ему нечего».

И русскій путникъ въ срединѣ XIX вѣка едва достаетъ въ *попутномъ селѣ* нѣсколько яицъ—утолить свой голодъ.

Дальше, его поражаетъ полное отсутствіе мужиковъ во всей деревнѣ, даже десятскимъ — баба,— и на вопросъ, гдѣ мужики — отвѣчаетъ на неслыханномъ языкѣ:

— Которы ушли у камотесы, которы дорогу циня.

А рядомъ вечевые города съ былой, безвозвратно исчезнувшей вольностью, широкая Волга, видавшая виды на своихъ тихихъ водахъ, Нижній-Новгородъ — съ величавой исторіей Козьмы Минина, захудалый Угличъ съ кровавымъ трагическимъ преданіемъ о цареубійствѣ... Всѣ эти событія и образы прошлаго всплывали въ памяти Островскаго и не могли исчезнуть безслѣдно. Нѣкоторыя случайныя встрѣчи еще глубже внѣдряли впечатлѣнія поволжскаго путешествія.

По пути изъ Осташкова во Ржевъ Островскій заѣхалъ въ одинъ постоялый дворъ и попросилъ ночлега. Хозяинъ встрѣтилъ гостя непривѣтливо, поразилъ его своимъ разбойничьимъ видомъ и отказалъ въ ночлегѣ. Послѣ оказалось,—онъ торговалъ своими пятью дочерями. Островскій твердо запомнилъ встрѣчу,—и воспользовался ею для комедіи «*На бойкомъ мѣстѣ*».

Но еще раньше возникла «*Гроза*». Она писалась одновременно съ отчетомъ о путешествіи: отчетъ появился въ *Морскомъ Сборникѣ* въ 1859 году, «*Гроза*» въ первой книгѣ *Библіотеки для чтенія* за 1860 годъ. Оба произведенія—плодъ живыхъ впечатлѣній путешествія. Участь «*Грозы*» оказалась счастливѣе статьи. На драму обратила вниманіе Академія и поручила проф. Плетневу представить отзывъ о пьесѣ. Критикъ восхищался характеромъ Катерины, вѣрнымъ изображеніемъ провинціальнаго городского быта и находилъ произведеніе достойнымъ Уваровской преміи. Академія и присудила эту премію 29 декабря 1860 года.

Но воспоминанія о поѣздкѣ не ограничились «*Грозой*». Островскій начинаетъ дѣятельно заниматься русской стариной. Подвигъ Кузьмы Минина представлялъ благодарную задачу для драмы. Волжскія впечатлѣнія ярко возставали въ памяти драматурга, и онъ даже вложилъ въ уста своего героя описаніе одной изъ самыхъ краснорѣчивыхъ картинъ Поволжья.

Мининъ ободряетъ себя мыслью, что не погибнетъ царство, населенное народомъ упорнаго и терпѣливаго труда. Глядя на родную рѣку, Мининъ говоритъ:

Вонъ огоньки зажглись по берегамъ...
Бурлаки, трудъ тяжелый забывая,
Убогую себѣ готовятъ пищу.
Вонъ пѣсню затянули... Нѣтъ, не радость
Сложила эту пѣсню, а неволя,

Неволя тяжкая и трудъ безмѣрный,
Разгромъ войны, пожары деревень,
Житье безъ кровли, ночи безъ ночлега...
О, пойте! Громче пойте! Соберите
Всѣ слезы съ матушки широкой Руси,
Новогородскія, псковскія слезы,
Съ Оки и съ Клязьмы, съ Дона и съ Москвы,
Отъ Волхова и до широкой Камы...
Пусть всѣ онѣ въ одну сольются пѣсню,
И рвутъ мнѣ сердце, душу жгутъ огнемъ,
И слабый духъ на подвигъ утверждаютъ...

Драма появилась въ январьской книгѣ *Современника* за 1862 годъ. Ровно три года спустя въ томъ же журналѣ Островскій напечаталъ «*Воеводу или сонъ на Волгѣ*». Вся пьеса одушевлена удалью старинныхъ волжскихъ молодцовъ, жившихъ «матушкой-Волгой», дѣлившихъ съ ней свои радости и горе. Одна изъ самыхъ лирическихъ пьесъ написана, повидимому, исключительно во славу Волги. Открывается она настоящимъ гимномъ въ честь великой рѣки: стихи эти, по разсказу очевидца, производили сильнѣйшее впечатлѣніе на замоскворѣцкихъ пріятелей автора, они не могли равнодушно слушать ихъ даже въ чтеніи. Это—дѣйствительно очень красивое и прочувствованное обращеніе къ Волгѣ, говоритъ его одинъ изъ удалыхъ молодцовъ, которому нѣтъ простора въ избѣ и гулять охота въ лодкѣ по широкому волжскому раздолью:

Кормилица ты наша, мать родная!
Ты насъ поишь и кормишь и лелѣешь!
Челомъ тебѣ! Катись до синя моря,
Крутымъ ярамъ, да краснымъ бережечкамъ
На утѣшенье, какъ на погулянье!
Не даромъ слово про тебя ведется;
Не мало пѣсенъ на Руси поется,
А всѣхъ милѣй—«По матушкѣ по Волгѣ».

И дальше начинается пѣсня...

Островскій не ограничился лирическимъ воспроизведеніемъ стариннаго русскаго быта, онъ занялся обработкой наиболѣе драматическихъ сюжетовъ, какіе только можно отыскать въ русской исторіи. Эпоха междуцарствія, конечно, стояла здѣсь на первомъ планѣ, «*Козьма Мининъ*»—только вступленіе. Въ 1867 г. явилась въ печати драматическая хроника—«*Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій*», въ томъ же году напечатано «*Тушино*» и въ слѣдующемъ драма «*Василиса Мелентьева*».

Она возникла, несомнѣнно, ради личности Ивана Грознаго. Мысль *объ этой пьесѣ* не принадлежала Островскому. Сотрудникомъ вни-

менитаго драматурга былъ директоръ театровъ Гедеоновъ. Насколько обширно это сотрудничество—у насъ нѣтъ вполнѣ опредѣленнаго извѣстія. Одни говорятъ, что Гедеоновъ успѣлъ подробно разработать весь планъ пьесы, составилъ ея конспектъ и передалъ свои матеріалы Островскому. По словамъ другихъ,—Гедеоновъ сообщилъ Островскому только сюжетъ драмы, и собственная его работа ограничилась прологомъ. Наконецъ Горбуновъ утверждаетъ совершенно другое: Гедеоновъ будто вручилъ Островскому уже *написанную* пьесу. Островскій взялъ только сюжетъ, «написалъ собственную свою пьесу, не воспользовавшись ни одною сценой, ни однимъ стихомъ изъ творенія Гедеонова».

Изъ всѣхъ свидѣтелей Горбуновъ стоялъ къ Островскому, несомнѣнно, ближе другихъ, и его свидѣтельству слѣдуетъ отдать предпочтеніе.

Раньше чѣмъ творчество Островскаго развилось на новомъ пути, къ его волжскимъ воспоминаніямъ прибавились другія, не столь сильныя и глубокія, но имѣвшія свое значеніе въ художественномъ развитіи драматурга. Можетъ быть,—и мысль драматизировать самую живую эпоху русской исторіи была подсказана Островскому отчасти ближайшимъ знакомствомъ съ западно-европейской драматической литературой.

Знакомство это находится въ связи съ заграничнымъ путешествіемъ нашего писателя.

XI.

Главная цѣль, руководившая Островскимъ въ далекой поѣздкѣ, заключалась въ желаніи—отдохнуть. Врядъ-ли онъ чувствовалъ особенный интересъ къ порядкамъ чужихъ краевъ и врядъ-ли могъ питать намѣреніе изучать западную жизнь и западныхъ людей. Островскій и его спутники—между ними находился Горбуновъ—запаслись записными книжками, готовились вносить всѣ наиболѣе выдающіяся впечатлѣнія и происшествія. Въ дѣйствительности,—впечатлѣнія оказались довольно незначительныя, а происшествій сколько-нибудь замѣчательныхъ не случилось — и записи Островскаго ничѣмъ не отличаются отъ дневника всякаго обыкновеннаго русскаго странствователя по Европѣ, ищущаго отдыха и освѣженія силъ.

Островскій, разумѣется, по своей художественной природѣ—*не могъ оставаться* равнодушнымъ къ чудесамъ итальянскаго искусс-

ства. Напримѣръ, въ Соборѣ св. Петра у него два раза готовы были навернуться слезы,—но здѣсь же стоитъ рядомъ замѣчаніе: «осмотрѣли соборъ мелькомъ». Величія Колизея, по словамъ Островскаго, «описать невозможно», а «чудеса Ватикана» онъ описывать «не станетъ». Это звучитъ не особенно горячо и въ этихъ заявленіяхъ нельзя открыть сильныхъ впечатлѣній, невольно льющихся изъ-подъ пера восхищеннаго созерцателя художественныхъ красотъ.

Но рѣчь Островскаго остается холодной и довольно прозаичной, даже когда заявляетъ о высшей степени своего наслажденія. О Флоренціи онъ пишетъ: «несказанное богатство художественныхъ произведеній подѣйствовало на меня такъ сильно, что я не нахожу словъ для выраженія того душевнаго счастія, которое я чувствовалъ всѣмъ существомъ моимъ, проходя эти залы. Чего тутъ нѣтъ: и Рафаэль, и сокровища Тиціановой кисти, и Дель-Сарто, и древняя скульптура».

Слышится что-то обязательное, общепринятое въ этомъ добросовѣстномъ перечисленіи «чудесъ». Въ такомъ же тонѣ дается отзывъ и о «дворцѣ Дожей», о Canale Grande, о Ріальто, объ «отличномъ утрѣ»—и, здѣсь же оговорки: «забылъ записать, что въ Венеціи превосходныя груши».

Вообще гастрономическая часть занимаетъ очень почтенное мѣсто въ записяхъ нашего путешественника, говорится о земляникѣ съ грецкій орѣхъ, объ апельсинахъ съ дыню, записываются даже цѣлыя меню, если они особенно дешевы и обильны. Горбуновъ на этихъ записяхъ сосредоточиваетъ даже главное вниманіе.

Въ результатѣ, нельзя сказать, чтобы Европа вызвала у русскаго драматурга живой интересъ. Онъ не касается ея общественныхъ условій, о политическихъ вопросахъ нечего и толковать, населеніе его занимаетъ преимущественно или даже исключительно внѣшностью и костюмами. Единственно, на чемъ остановилось вниманіе Островскаго—итальянская драматическая литература.

По возвращеніи въ Россію онъ принялся за изученіе итальянскихъ драматурговъ и впослѣдствіи перевелъ четыре пьесы—три комедіи—«*Великій банкиръ*», «*Заблудшія овцы*», «*Кофейня*» и весьма популярную драму Джакометти—«*Семья преступника*». Еще раньше этихъ пьесъ—Островскій въ 1865 году, въ *Современникѣ* напечаталъ переводъ шекспировской комедіи—«*Усмиреніе своенравной*».

Но не смотря на всю разнообразную и плодовитую литературную дѣятельность, Островскій не выходилъ изъ нужды. Театральное начальство не думало образумиться и смягчиться. Оно наносило

драматургу кровныя обиды, или совсѣмъ на допуская его пьесъ на сцену, или обставляя ихъ до послѣдней степени небрежно и нищенски. Случалось,—для спектакля не хватало самой обыкновенной сколько-нибудь приличной мебели. Все это не могло не волновать Островскаго крайне болѣзненно и въ періодѣ полнаго развитія своего таланта—онъ впадаетъ въ мучительное нервное разстройство.

Нужда преслѣдуетъ его неотступно. Сцена не признаетъ его заслугъ, онъ—авторъ первостепенныхъ драматическихъ произведеній, одинъ изъ самыхъ блестящихъ писателей своего времени,—не видитъ ни утѣшенія, ни просвѣта въ своемъ настоящемъ и будущемъ. Недуги начинаютъ подтачивать его отъ природы некрѣпкое здоровье. Островскій страдаетъ сердцебіеніемъ, безотчетной пугливостью. Его изводитъ постоянно тревожное состояніе духа, отсутствіе сна и аппетита. И все это въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, въ самый расцвѣтъ лѣтъ и силъ!

Островскій по временамъ доходитъ до отчаянія. Онъ не знаетъ, какъ ему жить съ семьей, на что воспитывать дѣтей, онъ готовъ даже совсѣмъ отказаться отъ театра. Намѣреніе это становится особенно настойчивымъ послѣ того, какъ театральныя власти задержали постановку на Московской сценѣ драмы—«*Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій*». Артистъ Бурдинъ посовѣтовалъ Островскому—написать письмо министру. Островскій пересылалъ этотъ документъ Бурдину для дальнѣйшей передачи, сопровождая его слѣдующими печальными признаніями:

«Любезный другъ, я едва держу перо въ рукахъ; постоянное сидѣніе за работой, безсонныя ночи совершенно разстроили мои нервы. Извѣстіе, которое я получилъ отъ тебя, добило меня совершенно, хотя оно было для меня не новостью. Поутру я былъ въ конторѣ (императорскихъ театровъ), видѣлъ тамъ Чаева, слышалъ отъ него о постановкѣ его «*Дмитрія Самозванца*» въ Москвѣ, но вечеромъ, когда получилъ твое письмо, со мной сдѣлалось дурно; сегодня я весь разбитъ и, вѣроятно, слягу. Письмо (къ министру) теперь у тебя въ рукахъ,—посылай его или разорви; дѣлай такъ, какъ укажетъ тебѣ твоя любовь ко мнѣ».

Въ другомъ письмѣ Островскій кратко, но внушительно изложилъ свои многообразныя мытарства. Письмо дышетъ скорбью; писатель, очевидно, достигъ предѣловъ своего терпѣнія и больше не *чувствуетъ* силъ продолжать прежній тернистый путь. Письмо *адресовано тому* же Бурдину—27 сентября 1866 года.

«*Объявляю тебѣ* по секрету, что я совсѣмъ оставляю театраль-

ное поприще. Причины вотъ какія: выгодъ отъ театра я почти не имѣю, хотя всѣ театры въ Россіи живутъ моимъ репертуаромъ. Начальство театральное ко мнѣ не благоволитъ, а мнѣ уже пора видѣть не только благоволеніе, но и нѣкоторое уваженіе; безъ хлопотъ и поклоновъ съ моей стороны ничего для меня не дѣлается, а ты самъ знаешь, способенъ ли я къ низкопоклонству; при моемъ положеніи въ литературѣ играть роль вѣчно кланяющагося просителя тяжело и унизительно. Я замѣтно старѣю и постоянно нездоровъ, а потому ѣздить въ Петербургъ, ходить по высокимъ лѣстницамъ—мнѣ ужъ нельзя. Повѣрь, что я буду имѣть гораздо больше уваженія, которое я заслужилъ и котораго стою, если развяжусь съ театромъ.

«Давши театру 25 оригинальныхъ пьесъ, я не добился, чтобы меня хоть мало отличили отъ какого-нибудь плохого переводчика. По крайней мѣрѣ, я пріобрѣту себѣ спокойствіе и независимость вмѣсто хлопотъ и униженія. Современныхъ пьесъ больше писать не стану; я уже давно занимаюсь русской исторіей и хочу посвятить себя исключительно ей; буду писать хроники, но не для театра. На вопросъ, отчего я не ставлю своихъ пьесъ, я буду отвѣчать, что онѣ неудачны. Я беру форму *Бориса Годунова*, такимъ образомъ постепенно и незамѣтно я отстану отъ театра».

Такъ писалъ драматургъ, уже давно признанный въ русской критикѣ «писателемъ необычайно-талантливымъ, лучшимъ послѣ Гоголя представителемъ драматическаго искусства въ русской литературѣ». Это признаніе, по свидѣтельству Добролюбова, было высказано въ печати еще послѣ комедіи «*Свои люди—сочтемся*». За семь лѣтъ до трагическаго письма о полномъ разрывѣ съ театромъ самъ Добролюбовъ посвятилъ Островскому рядъ статей, въ высшей степени лестныхъ, подробно исчерпывавшихъ содержаніе и смыслъ произведеній драматурга. Талантъ Островскаго являлся, слѣдовательно, вдохновителемъ для даровитѣйшей и благороднѣйшей современной общественной мысли. Критикъ, стоявшій во главѣ поступательнаго литературнаго движенія, признанный руководитель молодого поколѣнія,—увѣнчалъ Островскаго роскошнымъ вѣнкомъ художника-гражданина.

И все это не помогло самымъ, повидимому, естественнымъ успѣхамъ пьесъ Островскаго. Публика усердно смотрѣла его драмы и комедіи,—но театръ не желалъ показывать ихъ публикѣ, и первый современный драматургъ очутился въ самомъ обидномъ и безсмысленномъ положеніи, какое только можно представить.

Островскій не осуществилъ сполна своего намѣренія, подска-

заннаго отчаяніемъ,—и не могъ осуществить, т. е. перестать писать пьесы изъ современной жизни, окончательно разстаться съ театромъ. Драматургъ переживалъ то самое настроеніе, какое неоднократно посѣщало Тургенева среди ожесточенныхъ нападокъ критики на его романы. Онъ говорилъ тогда—*Довольно* и рѣшалъ—положить перо. Рѣшеніе оставалось мечтой, художникъ снова принимался за творческій трудъ,—являясь невольникомъ своего генія, стихіи, но подчиняясь неумирающему и повелительному вдохновенію. То же и съ Островскимъ.

Онъ дѣйствительно удѣлилъ много работы историческимъ хроникамъ, но и современная жизнь не утратила для него интереса,—и непосредственно послѣ письма не проходитъ года безъ новой комедіи. Съ теченіемъ времени кругъ драматическаго творчества даже расширяется: Островскій отъ бытовыхъ пьесъ переходитъ къ воспроизведенію нравовъ и типовъ интеллигентной среды. Это—третья полоса его дѣятельности, столь же плодовитая и яркая, какъ бытовая и историческая.

Но эта производительность не свидѣтельствовала, что писательскій путь Островскаго сталъ легче и благодарнѣе. Напротивъ, къ концу шестидесятыхъ годовъ драматургъ встрѣтилъ новаго врага и очень сильнаго соперника. Русскія сцены набросились на оперетку, публика привѣтствовала новое повѣтріе,—и комедіи и драмы должны были отступить предъ наплывомъ пикантныхъ пошлостей и шутовского комизма.

Островскій не могъ не чувствовать глубокаго отвращенія къ модному театральному жанру. Это было отвращеніе даровитаго писателя, уважающаго личность и талантъ литератора. Много лѣтъ позже, когда Островскій стоялъ во главѣ московскихъ театровъ, онъ въ письмѣ къ переводчицѣ драматическихъ произведеній высказалъ въ высшей степени краснорѣчивый взглядъ на современную драму и объяснилъ, почему оперетка—явленіе безусловно отрицательное и нежелательное.

Островскій писалъ:

«Судя по вашему письму, въ которомъ вы разбирали какую-то оперетку, я думалъ, что вы къ этому фальшивому роду сценическихъ произведеній питаете такое же отвращеніе, какое къ нему питаю и я, и какое долженъ питать всякій литераторъ-художникъ. Мы теперь стараемся всѣ наши идеалы и типы, взятые изъ жизни, *какъ можно* рельефнѣе и правдивѣе изобразить до самыхъ мельчайшихъ *бытовыхъ подробностей*, а главное мы считаемъ первымъ *условіемъ художественности* въ изображеніи даннаго типа вѣрную

передачу его образа выраженія, т. е. языка и даже склада рѣчи, которымъ опредѣляется самый тонъ роли. Теперь и сценическая постановка (декораціи, костюмы, гриммировка и пр.) въ бытовыхъ пьесахъ сдѣлала большіе успѣхи и далеко ушла въ постепенномъ приближеніи къ правдѣ. Оперетка же съ безпрестаннымъ шаржемъ, который составляетъ ея достоинство и безъ котораго она немыслима, есть отрицаніе реальности и правды».

Но царство оперетки въ шестидесятыхъ годахъ только-что наступало, и на первыхъ порахъ борьба съ ней не могла быть успѣшной. Новый источникъ огорченій для Островскаго! Они оказались тѣмъ глубже, что театральная критика подчинялась господствующему теченію. Рецензенты по поводу каждой пьесы укоряли Островскаго въ слабости и блѣдности таланта, говорили, что драматургъ исписался, и съ обычной для театральной критики выдержанностью и послѣдовательностью именно раньше уничтоженныя произведенія ставились въ образецъ позднѣйшимъ. Все это не могло безслѣдно проходить для нервно-впечатлительнаго писателя,—но отнюдь не лишало его энергіи.

Неурядицы въ русскомъ сценическомъ искусствѣ, въ драматической литературѣ и въ театральной критикѣ внушили Островскому обширную идею — преобразовать художественный вкусъ артистовъ, публики, создать театръ-школу, одинаково полезную для эстетическаго воспитанія общества и для приготовленія достойныхъ дѣятелей сцены. Замыселъ зрѣлъ въ умѣ Островскаго одновременно съ многочисленными невзгодами и разочарованіями.

Четырнадцатое ноября 1866 года Островскій называлъ однимъ изъ лучшихъ дней своей жизни. Въ этотъ день открылся московскій артистическій кружокъ, въ сильной степени обязанный своимъ возникновеніямъ планамъ и хлопотамъ Островскаго.

Въ чемъ преимущественно состояли эти планы—Островскій объяснилъ обстоятельно въ запискѣ, представленной позже уже въ оффиціальное учрежденіе, въ комиссію, учрежденную въ 1881 году «для пересмотра законоположеній по всѣмъ частямъ театральнаго вѣдомства».

XII.

Мы знаемъ, сколько огорченій встрѣтилъ Островскій даже отъ людей, повидимому—прежде всего обязанныхъ благодарностью великому драматическому дарованію. Артисты лучшей русской сцены *или плохо понимали* произведенія новаго драматурга или не же-

лали ихъ понимать. Причина заключалась въ косности театральныхъ талантовъ, а часто и въ недостаточномъ художественномъ и литературномъ развитіи артистовъ и артистокъ.

Островскій рѣзко возставалъ противъ легкомысленнаго отношенія сценическихъ дѣятелей къ своему искусству. Записка жестоко критикуетъ клубныя, любительскія и провинціальныя сцены. Авторъ возмущается взглядомъ на искусство, какъ на забаву или какъ на легкое ремесло. Островскій чрезвычайно остроумно изображаетъ театральный зудъ актеровъ-любителей, заинтересованныхъ исключительно переодѣваньемъ, фотографическими снимками своихъ особъ въ живописныхъ костюмахъ. И само любительство основано на совершенно ложномъ мнѣніи, будто актеромъ можно быть не учась—достаточно врожденныхъ способностей. Актеръ художникъ, а всякій художникъ долженъ основательно изучить технику своего искусства: «мало знать, помнить и воображать,—надобно умѣть». Актеръ долженъ жить на сценѣ полной жизнью изображаемаго лица, не только усвоить его нравственный міръ, его ощущенія, его душу,—но умѣть — «мгновенно, безъ задержки, чисто рефлективно» выражать все это соотвѣтственными жестами и соотвѣтственнымъ тономъ. Только при такихъ условіяхъ возможно произвести на публику живое художественное впечатлѣніе, а въ патетическихъ моментахъ вызвать единодушный восторгъ.

Актеръ прежде всего долженъ *жить на сценѣ*,—а эта способность дается продолжительнымъ изученіемъ сценическаго искусства,—и его не можетъ обходить актеръ-любитель, играющій ради развлеченія, и даже профессіональный актеръ, плохо подготовленный или не понимающій отвѣтственности своего дѣла.

Но въ Россіи даже и такіе исполнители находятъ благодарную публику: это стоитъ въ тѣсной связи съ низкимъ уровнемъ вообще сценическаго искусства, потому что артисты-художники и художественные критики—явленія однородныя по самой сущности своихъ натуръ,—и естественно, гдѣ само искусство представляется дѣятелями крайне заурядными, тамъ и цѣнители отличаются грубостью и нетребовательностью вкуса. Общій выводъ совершенно ясенъ: «при неумѣлыхъ исполнителяхъ, сцены не имѣютъ ни смысла, ни значенія,—это не храмы, даже не балаганы для забавы, потому что въ нихъ ничего забавнаго нѣтъ, кромѣ претензіи и смѣлости людей, берущихся не за свое дѣло. Это просто большія залы, устроенныя для пустой и безсмысленной траты времени *какъ зрителями, такъ и исполнителями*».

Именно, въ такомъ положеніи, по мнѣнію Островскаго, нахо-

дятся русскія частныя сцены. Онѣ не только не способствуютъ развитію драматическаго искусства, — онѣ мѣшаютъ ему, понижаютъ вкусъ публики и понижаютъ такъ послѣдовательно, такъ рѣшительно, что становится страшно за будущность русской сцены.

Предотвратить это бѣдствіе и желалъ Островскій. Цѣль артистическаго кружка опредѣлялась вполнѣ ясно и въ соотвѣтствіи съ современнымъ положеніемъ русской сцены: кружокъ долженъ распространить въ публикѣ правильныя понятія о всѣхъ отрасляхъ изящныхъ искусствъ, развить ея художественный вкусъ, доставить художникамъ возможность сдѣлаться извѣстными публикѣ. Кружокъ предполагалъ ставить пьесы, исполнителями предназначались члены кружка, артисты-любители. Сценѣ кружка предстояло замѣнить театральную школу. И впослѣдствіи Островскій могъ удостовѣрить, что цѣль эта осуществилась: кружокъ далъ московской сценѣ многихъ талантливыхъ артистовъ, и на его подмосткахъ впервые предъ московской публикой появлялись уже готовые блестящіе исполнители.

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ открытія кружокъ подъ руководствомъ Островскаго принялъ участіе въ крупномъ общественномъ событіи Москвы. Въ маѣ состоялся славянскій съѣздъ, и открылась Всероссійская этнографическая выставка. Кружокъ устроилъ въ честь славянскихъ гостей литературно-музыкальный вечеръ. Островскій говорилъ привѣтствіе, какъ первенствующій московскій литераторъ.

Это стремленіе Островскаго—дѣятельность писателя соединить съ общественными интересами—является большой исторической заслугой. Островскій очень широко понималъ обязанности драматурга-художника, въ ихъ кругъ входила вообще вся область художественнаго вкуса, насколько онъ отражается на духовномъ развитіи общества. Сцена и публика непосредственно вліяютъ на судьбу драматической литературы. Эти три силы стоятъ въ тѣснѣйшей взаимной связи,—и Островскій понималъ ее въ совершенствѣ. Писатель, чьи произведенія Добролюбовъ призналъ идейными въ высшей степени, чье имя являлось блестящимъ украшеніемъ просвѣтительной русской литературы,—не уклонился и отъ практическаго дѣла ради все той же идеи, распространяемой путемъ искусства и художественнаго творчества.

Вскорѣ послѣ основанія артистическаго кружка Островскій задумалъ осуществить еще болѣе значительную практическую мысль, давно подсказываемую жизнью. Личные опыты самого драматурга какъ нельзя настойчивѣе внушали ему планъ новаго

учрежденія. Знаменитый, неутомимо трудолюбивый—Островскій никакъ не могъ выбиться изъ тисковъ нужды. Театры обогащались благодаря его пьесамъ, а онъ самъ приходилъ въ отчаяніе отъ всякаго исключительнаго расхода, — напримѣръ передъ праздниками.

Во что бы то ни стало слѣдовало обезпечить трудъ драматическаго писателя. На западѣ это давно было достигнуто, во Франціи съ конца XVIII-го вѣка, благодаря усиліямъ Бомарше, — и съ тѣхъ поръ французскіе драматурги нерѣдко наживали цѣлые капиталы на нѣсколькихъ пьесахъ, стяжавшихъ любовь публики. Островскій рѣшился дѣятельно заняться давно наболѣвшимъ вопросомъ, нашелъ горячее сочувствіе среди драматурговъ и у высшей администраціи. Сначала возникло въ Москвѣ собраніе драматическихъ писателей. Островскій былъ его вдохновителемъ и руководителемъ. Но на первыхъ порахъ большихъ результатовъ не получилось: антрепренеры упорно отклонялись отъ платы авторамъ за представленія пьесъ, возникло множество процессовъ, и всѣ благія цѣли собранія, вѣроятно, долго не осуществились бы, если бъ на помощь не пришла судебная власть и правительство.

Суды стали карать антрепренеровъ за самовольную постановку пьесъ,—антрепренеры начали входить въ личныя сдѣлки съ авторами, но размѣръ платы зависѣлъ отъ случайностей, отъ ловкости той и другой стороны. Дѣло окончательно укрѣпилось, когда Собраніе драматическихъ писателей было признано закономъ и превратилось въ оффиціальное учрежденіе подъ именемъ Общества русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ.

Островскаго единогласно избрали предсѣдателемъ Общества, и онъ оставался несмѣняемымъ предсѣдателемъ съ 21 октября 1874 г. до самой смерти. Не забывая обширныхъ заботъ о судьбахъ русской драмы и сцены, Островскій и только-что созданное Общество желалъ сдѣлать орудіемъ нравственнаго и художественнаго воспитанія русскихъ дѣятелей драмы и оперы.

Онъ предполагалъ учредить при Обществѣ центральную библіотеку по драматической литературѣ и оперѣ, снабдить её классическими произведеніями — русскими и иностранными, и издавать при библіотекѣ пьесы для театровъ. Островскій намѣревался пожертвовать Обществу собственную библіотеку. Не упустилъ онъ изъ виду и другихъ просвѣтительныхъ учрежденій: чтенія при Обществѣ о сценическомъ искусствѣ, устройство образцовой сцены— *для классическихъ* произведеній, и руководить этой сценой должны *были сами драматурги* и знатоки театральнаго дѣла. Наконецъ,

Островскій желалъ образовать при Обществѣ капиталъ для выдачи постоянныхъ и временныхъ премій за лучшія драматическія произведенія и для конкурсовъ на соисканіе премій за сочиненія по сценическому искусству,—причемъ темы предоставлялось предлагать Обществу.

Не всѣмъ этимъ планамъ и не вполнѣ суждено было выполниться. Но нѣкоторые легли въ основу до сихъ поръ существующихъ учрежденій. Напримѣръ,—Московское филармоническое общество и состоящее при немъ музыкально-драматическое училище возникли благодаря Обществу любителей музыкальнаго и драматическаго искусства, создавшему на нѣкоторое время образцовую сцену. Островскій съ самаго основанія состоялъ почетнымъ членомъ Общества, и оно, открывая сцену, несомнѣнно пользовалось его идеей.

Капиталъ для премій за лучшія драматическія произведенія образовался по подпискѣ. Она была разрѣшена въ память пятидесятилѣтней годовщины смерти Грибоѣдова, и собранные около 7.000 р. составили капиталъ для выдачи «грибоѣдовской» преміи.

Островскій силой вещей становился во главѣ русскаго сценическаго искусства и русской драмы. Художественныя и практическія начинанія непремѣнно связывались съ его именемъ, даже возникали при его непосредственномъ участіи. Несомнѣнно,—такое исключительное положеніе создалось прежде всего благодаря литературному таланту Островскаго,—но не малое значеніе имѣла и личность Островскаго.

Это былъ искренно добрый и въ высшей степени деликатный человѣкъ. Едва ли не самой отрицательной чертой его характера являлась именно преувеличенная, пристрастная доброта. Онъ не просто любилъ дорогихъ ему людей, — онъ непремѣнно идеализировалъ ихъ, увлекался какимъ-то настойчиво-длящимся увлеченіемъ. Симпатичный для него человѣкъ непремѣнно былъ во всемъ безупреченъ, понравившійся ему актеръ—всеобъемлющій талантъ. Такъ сообщаетъ очевидецъ, и это свидѣтельство подтверждается всѣми извѣстными намъ данными.

Вывести Островскаго изъ терпѣнія даже самыми докучливыми и безсмысленными просьбами было очень трудно. Особенно много терпѣлъ онъ отъ молодыхъ драматургическихъ талантовъ. Они не давали ему покоя со своими пьесами, просили его совѣтовъ, поправокъ, сотрудничества. И Островскій умѣлъ щадить даже самолюбіе бездарностей, тратилъ время и находчивость на бесѣды съ ними, а нерѣдко дѣйствительно вступалъ въ литературную компанію съ начинающимъ драматургомъ и отдавалъ свой трудъ и свое имя. Легко

представить, съ какой охотой и любовью онъ поощрялъ настоящіе таланты. Поучительны напримѣръ отношенія къ переводчицѣ А. Мысовской.

Переводчица вздумала передѣлать «*Снѣгурочку*» Островскаго въ оперное либретто. Передѣлка вышла очень удачной,—но возникло сомнѣніе, можно ли будетъ воспользоваться передѣлкой безъ разрѣшенія Островскаго. А. Мысовская написала драматургу запросъ,—и между ними возникла переписка, дающая нѣсколько любопытныхъ чертъ для характеристики нашего писателя.

Островскій, управлявшій въ то время московскимъ театромъ, заваленный работой, безконечными и разнообразными хлопотами, съ надорваннымъ здоровьемъ,—обращаетъ пристальное вниманіе на талантливую поэтессу. Въ его умѣ возникаетъ цѣлый рядъ работъ для нея: она прежде всего должна заняться драматической обработкой иностранныхъ сказокъ. Эти переработки дадутъ на сценѣ увлекательныя феерическія зрѣлища, окончательно затмятъ оперетку и балетъ. Это будетъ прекраснымъ развлеченіемъ и для дѣтей. Потомъ переводчицѣ можно поручить Мольера: она переведетъ его стихотворныя пьесы, а самъ Островскій — прозаическія,— и все это можно издать роскошно. Въ заключеніе онъ желаетъ лично видѣть свою корреспондентку: «Мы съ вами дописались до того, что пора ужъ и по душѣ поговорить».

Письма Александра Николаевича неизмѣнно полны задушевности, онъ безпрестанно впадаетъ въ искренній откровенный тонъ, принимается дружески бесѣдовать о всецѣло захватившихъ его заботахъ, пространно сообщаетъ свои мечты и планы, дѣлится съ своей—лично ему незнакомой корреспонденткой—опасеніями, сомнѣніями и многочисленными неотвязными тревогами о судьбѣ дорогого дѣла. Наконецъ, онъ готовъ сознаться, что, можетъ быть, при личномъ свиданіи произвелъ на поэтессу-переводчицу непріятное или смутное впечатлѣніе: она захватила его въ самый разгаръ непосильныхъ, по его мнѣнію, обязанностей, въ глубоко трагическомъ положеніи, когда человѣкъ страстно стремится къ завѣтной цѣли и чувствуетъ невозможность достигнуть ея.

Такъ могъ говорить только по природѣ добрый и душевный человѣкъ, какимъ всю жизнь оставался Островскій.

Эта мягкость натуры нерѣдко приносила ему самый ощутительный ущербъ,—гораздо болѣе важный, чѣмъ безплодныя поучительныя бесѣды съ бездарными драматургами, пристрастное покровительство *излюбленнымъ* актерамъ.

Мы видѣли, какъ безпощадно относились къ нему люди, запра-

влявшіе русской казенной сценой. Не меньше терпѣлъ Островскій и отъ издателей. Онъ обнаружилъ совершенную безпомощность въ практическихъ вопросахъ. Онъ прежде всего съ трудомъ доходитъ до мысли, что слѣдуетъ издать отдѣльно свои пьесы. Онъ видитъ ихъ успѣхъ, знаетъ спросъ публики, но затрудняется, какъ приняться за дѣло. Сначала у него является намѣреніе—быть самому издателемъ своихъ пьесъ,—но вскорѣ онъ оставляетъ эту идею изъ страха—запутаться въ мелкихъ и крупныхъ разсчетахъ по изданію. Ему даже становилось горько отъ сознанія своей непрактичности.

«Вѣрите-ли, писалъ онъ своему пріятелю,—какъ мнѣ иногда бываетъ прискорбно, что я такъ дурно веду свои денежныя дѣла. Имѣя четверыхъ дѣтей, это непростительно. Некрасовъ нѣсколько разъ мнѣ въ глаза смѣялся и называлъ меня безсребреникомъ. Онъ говорилъ, что никто изъ литераторовъ не продаетъ своихъ изданій такъ дешево, какъ я».

И Островскій боялся, какъ бы Некрасовъ не разгласилъ его слабость и не поощрялъ издателей еще больше прижимать его.

На этотъ разъ опасенія были напрасны. Некрасовъ, безъ вѣдома Островскаго, заботился объ его интересахъ, издатель являлся подставнымъ лицомъ, изданіе предпринималъ самъ Некрасовъ, негласно владѣвшій книжнымъ магазиномъ.

Но такая удача выпадала на долю Островскаго только въ исключительныхъ случаяхъ. Чаще онъ рисковалъ подвергнуться продѣлкѣ вродѣ той, какая постигла его съ издателемъ *Русскаго Слова*, гр. Кушелевымъ-Безбородко.

Собственно самъ издатель былъ ни при чемъ,—вся вина падала на его распорядителей и приказчиковъ. По словесному договору, они имѣли право выпустить первое изданіе сочиненій Островскаго въ 1858 году въ 3000 экземплярахъ. На самомъ дѣлѣ было напечатано пять тысячъ. Какъ же поступилъ Островскій?

Отвѣтъ онъ далъ самъ въ слѣдующемъ признаніи:

«Я могъ тогда же остановить печатаніе лишнихъ экземпляровъ, но не сдѣлалъ этого изъ деликатности во избѣжаніе скандала. Графъ предлагалъ мнѣ запечатать своей печатью лишнія книги, я и этого не сдѣлалъ тоже изъ деликатности, желая показать ему полное довѣріе. Что же вышло? Если бъ я тогда уничтожилъ экземпляры, я бы черезъ два года (а теперь прошло почти четыре) имѣлъ право продать второе изданіе и былъ бы съ деньгами, а теперь ни денегъ, ни возможности даже получить какія либо свѣдѣнія о своемъ *добрѣ. Если даже* первое изданіе (т. е. 3000 экз.) еще не продано,

то чѣмъ же я виноватъ? При небрежности продажу можно растянуть на десять лѣтъ. Мои дѣла теперь плохи. Не сыщется ли кто желающій издать третій томъ, я взялъ бы теперь дешево. На третій томъ наберется произведеній и безъ «*Минина*» («*Мининъ*» разойдется отдѣльнымъ изданіемъ). Тому, кто купилъ бы у меня третій томъ за двѣ тысячи, я уступилъ бы изданіе «*Минина*» даромъ».

И такъ продолжалось вплоть до учрежденія Общества драматическихъ писателей, т. е. до конца 1874 года. А за это время пьесы Островскаго не сходили съ провинціальныхъ и столичныхъ сценъ. До какой степени онѣ были популярны, показываетъ цифра представленій за девятнадцать лѣтъ—съ 1853 года по 1872 годъ: всего 766 разъ прошли пьесы Островскаго только на казенныхъ сценахъ. Дирекція императорскихъ театровъ получила за это время со спектаклей Островскаго около двухъ милліоновъ дохода.

И послѣдній сезонъ за означенный періодъ оказался особенно благопріятнымъ для произведеній нашего драматурга—были поставлены въ первый разъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ—двѣ пьесы «*Лѣсъ*» и «*Не все коту масляница*». Кромѣ того, самъ авторъ завѣдывалъ постановкой «*Дмитрія Самозванца*» на петербургской сценѣ.

Много труда стоило ему выхлопотать постановку,—но и послѣ того, когда хлопоты пришли къ желанному концу, обычныя терніи не исчезли съ тяжелаго писательскаго пути Островскаго.

На постановку, по обыкновенію, поскупились до послѣдней степени: старые костюмы, ветхія декораціи,—по словамъ очевидца,—«все пахло презрѣніемъ, неумолимымъ презрѣніемъ къ русскому театру и къ русскимъ талантамъ». Исполненіе соотвѣтствовало обстановкѣ, и только яркая талантливость пьесы спасла ее отъ провала.

Но этотъ именно спектакль получилъ для Островскаго особое значеніе, заставившее его—хотя на время забыть недочеты представленія и свои личныя огорченія.

XIII.

Наивно устраивая денежныя дѣла, Островскій столь же простодушно относился къ своей писательской силѣ и извѣстности.

Онъ, разумѣется, не могъ не сознавать своего вліянія на публику, не понимать своего исключительнаго положенія въ современной драматической литературѣ. На помощь его авторскому сознанью пришла въ высшей степени внушительная критика—въ

лицѣ Добролюбова. Произведенія его охотно печатались журналами славянофильскаго и западническаго направленія, и западники даже укоряли московскую партію, что она не съумѣла вполнѣ оцѣнить глубокій общественный смыслъ творчества Островскаго.

Для русской критики, никогда не страдавшей однородностью вкусовъ и единодушіемъ идей, — явленіе почти исключительное. Оно не могло не бросаться въ глаза самому Островскому,—и у другого писателя, несомнѣнно, вызвало бы соотвѣтствующее настроеніе, т. е. самоувѣренное и даже болѣе или менѣе преувеличенное представленіе о своемъ талантѣ и значеніи.

Съ Островскимъ этого не случилось.

Скромность лежала въ его природѣ, слишкомъ добродушной для того, чтобы страдать честолюбіемъ и тщеславіемъ. По словамъ близко знавшаго его наблюдателя, заслуживающаго безусловнаго довѣрія, онъ иногда обнаруживалъ простодушныя и даже отчасти забавныя притязанія. Островскій вдругъ впадалъ въ нѣкоторое хвастовство и самохвальство.

Вызывалось оно не чванствомъ, не надменнымъ самообожаніемъ, а невиннымъ задоромъ—не оказаться ниже другихъ. Если кого-либо хвалили въ его присутствіи, онъ желалъ напомнить и свои собственныя заслуги. Онъ будто опасался несправедливости со стороны людей, способныхъ, пожалуй, унизить его талантъ.

Это настроеніе отнюдь не свидѣтельствовало объ авторскомъ себялюбіи: Островскій никому не завидовалъ, ничьего дарованія не унижалъ. Напротивъ,—готовъ былъ вѣчно покровительствовать и поддерживать. И эта добродѣтель была извѣстна и писателямъ и артистамъ и всѣми оцѣнена по достоинству.

У Островскаго не оказывалось литературныхъ враговъ. Онъ единственный изъ первостепенныхъ русскихъ писателей художниковъ не испыталъ ожесточенныхъ партійныхъ нападокъ, какимъ подвергались его даровитѣйшіе современники—Тургеневъ, Достоевскій, Писемскій,—и раньше ихъ Пушкинъ и Гоголь. И Тургеневъ, завѣдомый западникъ и геніальный *художникъ*, привѣтствовалъ талантъ Островскаго съ не менѣе искреннимъ доброжелательствомъ, чѣмъ западническая *критика*.

Естественно,—литература и сцена воспользовались первымъ же юбилеемъ драматурга, чтобы выразить ему мои сердечныя чувства—ему, какъ автору и какъ человѣку.

Шумныя и многолюдныя юбилейныя празднества еще въ семидесятыхъ годахъ еще не успѣли войти въ нравы русской литературы,—*и юбилей* Островскаго былъ отпразднованъ скромно, можно

сказать—по-семейному,—но скромность не помѣшала задушевности привѣтствій.

Въ Петербургѣ послѣ представленія «*Дмитрія Самозванца*» артисты за кулисами поднесли Островскому адресъ и серебряный вѣнокъ. Около мѣсяца спустя и литераторы устроили юбилейный обѣдъ. Но самъ юбиляръ въ это время былъ въ Москвѣ, гдѣ также праздновалось двадцатипятилѣтіе его дѣятельности. Въ Артистическомъ кружкѣ состоялся литературный вечеръ, между прочимъ Садовскій читалъ конецъ перваго акта комедіи «*Свои люди—сочтемся*», автору устроили восторженныя оваціи, за ужиномъ произносили рѣчи, тотъ же Садовскій говорилъ о народномъ театрѣ и объ Островскомъ, какъ первомъ его представителѣ. Наконецъ, и Общество Любительской Россійской словесности устроило 9-го апрѣля засѣданіе и почтило драматурга рѣчами объ его литературныхъ заслугахъ. Самъ онъ прочиталъ сцену изъ пьесы «*Комикъ XVII-го вѣка*».

Это — одно изъ слабыхъ произведеній Островскаго, но оно любопытно какъ юбилейное—не для праздника самого автора, а для двухсотлѣтней годовщины русскаго театра. Въ 1672 году уже Алексѣй Михайловичъ по случаю рожденія сына Петра приказалъ пастору Московской лютеранской церкви—магистру Ягану Готфриду Грегори—«учинить комедію, а на комедіи дѣйствовать изъ библіи книгу Эсѳирь и для того дѣйства устроить хоромину вновь».

Всѣ эти свѣдѣнія собралъ проф. Тихонравовъ для актовой университетской рѣчи—12 января 1873 года. Они стали извѣстны Островскому, и онъ на основаніи ихъ написалъ свою пьесу—съ цѣлью изобразить отношенія старой Москвы къ театральнымъ зрѣлищамъ.

Цѣли драматургъ достигъ: его герои въ точности передаютъ ужасы москвичей XVII вѣка предъ неслыханной бусурманской затѣей. Но эти сцены — только вспомогательная баллетристическая иллюстрація къ ученому изслѣдованію. Вполнѣ жизненныхъ лицъ на истинной исторической почвѣ автору не удалось создать,—и авторское творчество становится сильнымъ и яркимъ только при изображеніи давно знакомыхъ ему бытовыхъ чертъ московскаго темнаго царства,—измывательства родителей надъ дѣтьми—только потому, что они—отцы, а тѣ ихъ дѣти, взяточничества подъячихъ, ихъ *варварскихъ* религіозныхъ воззрѣній на искупленіе всѣхъ грѣховъ *внѣшними обрядами*, особенно тысячами поклоновъ. Всѣ эти монологи и сцены—*живая* страница русской жизни, очевидно—потому

что авторъ могъ читать ихъ еще въ половинѣ XIX-го вѣка во всей неприкосновенности и полнотѣ.

Одновременно съ «*Комикомъ XVII вѣка*» Островскій написалъ одно изъ поэтичнѣйшихъ произведеній русской художественной поэзіи, основанныхъ на русскихъ народныхъ сказкахъ—«*Снѣгурочку*». Она вдохновила двухъ композиторовъ—Чайковскаго и Римскаго-Корсакова,—и вполнѣ естественно. Драматургъ обнаружилъ изумительную способность писать необыкновенно звучными и въ то же время характерными стихами. Сцена Купалы съ царемъ Берендеемъ—одно изъ первостепенныхъ украшеній русской лирической поэзіи. И лирическая красота нисколько не повредила яркости психологіи. Поэтъ съумѣлъ въ высшей степени тонко и осязательно въ самыхъ рѣчахъ передать характеры—царя-старца, проникнутаго религіозной любовью къ жизни и ея радостямъ и молодой дѣвицы, наивно, но глубоко тоскующей по утраченному счастью. И вся сцена обвѣяна едва уловимымъ юморомъ,—истинно-національнымъ духомъ русской народной поэзіи. Уже въ самихъ стихахъ, въ ихъ изящномъ пѣсенномъ строѣ заключена музыка—такъ же какъ и въ пѣснѣ гусляровъ,—превосходномъ подражаніи «*Слову о полку Игоревѣ*».

Сказка создана для музыки и, какъ исключительно драматическое представленіе,—она сравнительно блѣдна, потому что слишкомъ тонка и воздушна—для простой сценической декламаціи, не достаточно *матеріяльна* для актерской игры. По «*Снѣгурочкѣ*» можно судить, съ какимъ успѣхомъ Островскій могъ бы выполнить свой предсмертный планъ—замѣнить балетъ сказками и драмами-феерiями.

«*Снѣгурочка*» осталась единственнымъ образцомъ этого творчества въ литературной дѣятельности Островскаго. Онъ снова сосредоточился исключительно на воспроизведеніи современной русской дѣйствительности, перемѣнивъ только предметы наблюденія.

Собственно перемѣна произошла давно,—точнѣе ея никогда не было въ рѣшительной рѣзкой формѣ. Островскій началъ свое писательство изслѣдованіемъ вновь открытой страны—замоскворѣчья. Этому открытію драматургъ обязанъ своей первой славой. Но небывало-блестящее начало,—такой комедіи какъ «*Свои люди—сочтемся*»—не значило, будто авторъ сосредоточился исключительно на герояхъ и дѣлахъ темнаго царства. Два года спустя въ печати появилась «*Бѣдная невѣста*», и именно героини этой комедіи вызвали особенный восторгъ въ московской критикѣ. И онѣ не принадлежали Замоскворѣчью—по своей психологіи и по своему быту.

Марья Леонтьевна—дочь бѣднаго чиновника, скромная, смиренная, своего рода Татьяна изъ средняго сословія, даже болѣе вдумчивая и разумная, чѣмъ пушкинская воспитанница иноземныхъ чувствительныхъ романовъ. Только сцена ея тѣснѣе и темнѣе, герои—мельче и тусклѣе,—но тѣмъ симпатичнѣе выдѣляется на общемъ мѣщанскомъ фонѣ—ея чистый сердечный образъ. Другая героиня—Дуня еще любопытнѣе. Она всего на нѣсколько минутъ появляется на сцену,—но успѣваетъ оставить послѣ себя у главнаго героя пьесы и у зрителей впечатлѣніе—непосредственной, но великой нравственной силы, доходящей до самоотверженія—во имя *прошлой* любви. Именно эта личность особенно восхитила славянофильскую критику, на этотъ разъ—совершенно правую въ своихъ восторгахъ.

Замоскворѣцкое царство только отчасти даетъ матеріалъ для «*Бѣдной невѣсты*»,—въ лицѣ чиновниковъ—обычнаго типа взяточниковъ и «моветоновъ въ высшей степени». То же самое повторяется въ цѣломъ рядѣ пьесъ—«*Въ чужомъ пиру похмѣлье*», (1856)«*Доходное мѣсто*» (1856), «*Пучина*» (1866): сцена дѣйствія дѣлится между образованными тружениками,—можно сказать интеллигентнымъ пролетаріатомъ и представителями темной силы капитала—и преступныхъ каверзъ въ рукахъ купцовъ—и чиновничества. Драматургъ заинтересованъ взаимными отношеніями двухъ общественныхъ слоевъ. Предъ нами или бѣдная дѣвушка, ставшая предметомъ любви купеческаго сына и вызвавшая жестокій раздоръ въ его чванной самодурной семьѣ, или бѣдный молодой человѣкъ, просвѣщенный, преисполненный даже благородными цѣлями, искренній и сердечный, а рядомъ съ нимъ соблазны «доходнаго мѣста», торговля правосудіемъ и закономъ, вошедшая въ правы и умѣвшая подчинить себѣ даже матерей и дочерей, считающихъ себя созданными для «благородной» жизни. Наконецъ, — совершенно безпомощныя жертвы непроглядной тьмы и безпощадной жестокости, царствующихъ среди полуизверговъ, борцовъ за существованіе въ самомъ первобытномъ смыслѣ слова, т. е. за «сладкую» пищу и удовлетвореніе грубѣйшихъ инстинктовъ.

Авторъ не стремится рѣшить драматическій вопросъ непремѣнно въ успокоительномъ направленіи. Онъ, какъ художникъ, не становится преднамѣренно на сторону лицъ положительныхъ и симпатичныхъ. Онъ предоставляетъ борьбѣ развиваться и на сценѣ столь же послѣдовательно и искренно-правдиво, какъ она совершается и въ самой дѣйствительности. Можетъ случиться,—Титъ Титычъ *растрогается честностью* бѣднаго учителя и признаетъ его дочь *достойной своего* сына,—но чаще бываетъ, что «пучина» засасы-

ваетъ честныхъ людей, что Бѣлогубовы и Юсовы одолѣваютъ Жадовыхъ, что Боровцовы—дикари и животныя—въ конецъ лишаютъ человѣческаго образа прекрасныхъ молодыхъ людей. Въ основѣ ихъ мужества лежитъ вопіющее извращеніе законовъ нравственности и справедливости,—и логика жизни нерѣдко несетъ возмездіе самымъ ловкимъ преступникамъ,—но и добродѣтельнымъ отъ этого не легче: врядъ-ли позоръ стараго плута и кляузника можетъ утѣшить Жадова въ его измѣнѣ задушевнѣйшимъ мечтамъ молодости и всѣ злоключенія Пуда Кузьмича не въ состояніи вернуть Кисельникову его разумъ и человѣческое достоинство.

Съ большинствомъ «стрекулистовъ» не происходитъ даже вовсе никакой борьбы: «капиталы» ихъ прямо гипнотизируютъ, они счастливы пойти въ какое угодно рабство, лишь бы дать просторъ своимъ «благороднымъ чувствамъ». На эту тему написана трилогія о Бальзаминовѣ «*Праздничный сонъ до обѣда*» (1857), «*Свои собаки грызутся—чужая не приставай*» и «*Зачѣмъ пойдешь, то и найдешь*» (1861).

Герой Бальзаминовъ—не лишенъ нѣкоторой каррикатурности: онъ, можетъ быть, гораздо глупѣе, чѣмъ весьма многіе «благородные» женихи купеческихъ дочерей,—но глупость только дѣлаетъ его откровеннѣй, и онъ безъ всякихъ стѣсненій выбалтываетъ затаенныя вожделѣнія цѣлой породы московскихъ людей.

Бальзаминовъ говоритъ о себѣ: «я человѣкъ съ большимъ вкусомъ-съ, ну а средствъ къ жизни нѣту-съ. Слѣдственно, я долженъ ихъ искать... Развѣ можно съ благородными понятіями въ бѣдности жить? А коли я не могу никакими средствами достать себѣ денегъ, значитъ—я долженъ жениться на богатой».

Что можно возразить противъ этой логики? И ее исповѣдуетъ всецѣло и сослуживецъ Бальзаминова, несравненно болѣе умный, чѣмъ онъ, и менѣе откровенный,—но тождественный съ нимъ по своимъ практическимъ и нравственнымъ идеаламъ.

И Бальзаминову незачѣмъ отказываться отъ своего счастья: въ «пучинѣ» найдется и для него добыча и въ свою очередь та же пучина вполнѣ удовлетворитъ его стремленіе — превратиться въ безпечнаго тунеядца одновременно раба и деспота «капитала».

Съ конца шестидесятыхъ годовъ Островскій начинаетъ удѣлять больше вниманія просвѣщенному обществу. Происходитъ это подъ, очевиднымъ вліяніемъ современныхъ общественныхъ явленій, возникшихъ на почвѣ реформъ шестидесятыхъ годовъ.

XIV.

Великое просвѣтительное и преобразовательное движеніе мало отразилось на литературной дѣятельности Островскаго. Въ этомъ отношеніи онъ стоитъ рядомъ съ другимъ современнымъ первостепеннымъ художникомъ—съ Писемскимъ. Авторъ «*Горькой судьбины*» и многочисленныхъ произведеній изъ народной жизни, занимающихъ первыя мѣста въ русской народнической литературѣ,—не обнаружилъ горячей отзывчивости на самый жгучій вопросъ времени — объ освобожденіи крестьянъ. Правда,—смыслъ драмы краснорѣчиво доказывалъ всю тлетворность вѣкового недуга,—но такой выводъ получался такъ сказать безъ вѣдома автора. Писемскій не помышлялъ исцѣлить недугъ—рѣшительнымъ средствомъ отмѣной—крѣпостного права,—онъ удовлетворился бы—*добрыми* помѣщиками и *благоразумной* властью господъ надъ подданными.

Островскій, болѣе доступный новымъ идейнымъ вѣяніямъ,—несомнѣнно воспріимчивѣе относился къ величайшей правительственной реформѣ. Но и у него она встрѣтила сравнительно ограниченное отраженіе—въ художественныхъ произведеніяхъ. Только въ одной пьесѣ—«*Воспитанница*» поставленъ вопросъ о помѣщикахъ крѣпостникахъ,—и то въ неопредѣленной и крайне сдержанной формѣ. Героиня-крѣпостница—съ нерусской внѣшностью и съ полуазіятской фамиліей—могла на публику произвести впечатлѣніе исключительнаго явленія. А потомъ—ея власть создаетъ несчастныхъ только среди «воспитанницъ», въ ея особомъ придворномъ штатѣ,—о положеніи ея крестьянъ мы ничего не слышимъ. Любопытнѣйшей чертой крѣпостныхъ порядковъ—остается Потапычъ, прирожденный рабъ, усвоившій чисто-религіозный взглядъ на господскую волю: «я долженъ потрафлять во всемъ, потому я долженъ раболѣпствовать»,—этотъ *долгъ* оправдываетъ въ его глазахъ всѣ его дѣйствія и всѣ отношенія къ людямъ. Даже на вопросъ Надивоспитанницы,—не убилъ-ли бы онъ ея, если бы ему приказали,—Потапычъ отвѣчаетъ: «Ужъ это не наше дѣло, мы этого разсуждать не можемъ».

Вполнѣ жизненный историческій типъ,—двойникъ героя Писемскаго въ разсказѣ «*Старая барыня*» и одной породы съ бурмистромъ въ «*Горькой судьбинѣ*».

Разумѣется,—подобныя нравственныя явленія рядомъ съ безсмысленнымъ страданіемъ «воспитанницъ» рисовало въ должномъ *свѣтѣ крѣпостническій* міръ,—но не *вообще*, а въ частности,—*подъ властью Уланбековыхъ*. Дѣлая эту оговорку, мы должны вспом-

нить о судьбѣ даже такой скромной пьесы съ идеями: «*Воспитанница*» встрѣтила цензурный гнѣвъ,—и, можетъ быть,—это обстоятельство помѣшало Островскому пристальнѣе заняться другимъ *темнымъ царствомъ* своего отечества.

Послѣ реформъ — народились новые дѣятели, открылись новые пути для практическихъ талантовъ. Судьба помѣщиковъ круто измѣнилась, въ ихъ средѣ появился свой пролетаріатъ, благородные бездѣльники, успѣвшіе прожить наслѣдственное, неспособные нажить своего и совершенно безпомощные безъ чужого дарового труда. Съ другой стороны—выросъ новый типъ дѣльца—темнаго во всякомъ случаѣ скромнаго происхожденія, но съ большимъ запасомъ житейскаго опыта, энергіи и смѣтливости.

При совмѣстномъ развитіи этихъ новыхъ породъ людей естественно возникали новыя драматическія и комическія столкновенія, — отчасти похожія на дореформенныя исторіи въ темномъ царствѣ.

И теперь также на одной сторонѣ было «благородство», а на другой капиталъ;—но съ одной весьма существенной разницей. Благородство разорившихся дворянъ только и ограничивалось «породой», родословнымъ деревомъ. О принципахъ, идеальныхъ задачахъ не могло быть и рѣчи предъ страшной дилеммой: или отказаться отъ прирожденныхъ «благородныхъ вкусовъ» и взяться за черную работу, или войти въ сдѣлки съ обладателями капитала, покориться имъ—какъ мужьямъ, зятьямъ, вообще родственникамъ и въ то же время какъ побѣдоноснымъ представителямъ новыхъ возрѣній на личное благородство и личный трудъ и умъ.

Первая пьеса, написанная Островскимъ на этотъ мотивъ—«*Бѣшеныя деньги*» (1870). Здѣсь два лагеря: одинъ—населенъ господами съ громкими фамиліями и «титулованной родней»—Телятевъ, Кучумовъ, Чебоксарова, ея дочь. Всѣ они съ самыми внушительными «традиціями» и самымъ жалкимъ настоящимъ. Кавалеры открыто являются паразитами у купцовъ, дамы только и мечтаютъ свой дворянскій гербъ пристроить къ хорошей коммерческой фирмѣ. На противоположной сторонѣ—человѣкъ ума, таланта и дѣла. Онъ даже по-русски объясняется не вполнѣ литературно,—но онъ исполненъ силы и энергіи, рядомъ съ выродившимся и обѣднѣвшимъ дворянствомъ; онъ носитель будущаго общественнаго и экономическаго строя, какъ представитель личной дѣятельности и демократическаго труда.

Не можетъ быть и вопроса, кто долженъ остаться побѣдителемъ: *господамъ* съ тонкими вкусами и духовной немощью прихо-

дится окончательно отойти въ сторону или войти въ теченіе «дѣловыхъ людей».

Втеченіи семидесятыхъ годовъ Островскій все пристальнѣе сосредоточивается на просвѣщенномъ русскомъ обществѣ—всѣхъ слоевъ. Разнообразіе типовъ, воспроизведенныхъд раматургомъ втеченіи десяти лѣтъ, поразительно: цѣлая историческая и до сихъ поръ не полинявшая галлерея!

На слѣдующій годъ послѣ «*Бѣшеныхъ денегъ*»—появляется одна изъ популярнѣйшихъ пьесъ Островскаго—«*Лѣсъ*». Два главныхъ героя—комикъ и трагикъ навсегда останутся классическими фигурами въ русскомъ репертуарѣ. Вообще, — глубокое знаніе актерской жизни и психологіи—такая же блестящая черта въ талантѣ Островскаго, какъ и открытіе темнаго царства. И драматургъ, видимо, съ любовью обращался къ этой области, посвятилъ ей исключительно—двѣ пьесы — «*Безъ вины виноватые*» и «*Таланты и поклонники*». Онъ съумѣлъ и здѣсь сохранить полное безпристрастіе и полноту художественнаго возсозданія жизни. На двадцатипятилѣтнемъ юбилеѣ онъ говорилъ о своей неизмѣнной любви къ русскимъ артистамъ—наравнѣ съ любовью къ русскому театру и привѣтствіе и вѣнокъ съ ихъ стороны онъ считалъ для себя высокой честью. И рѣчь писателя была искренняя,—но уваженіе къ истиннымъ художникамъ сцены не помѣшало ему разглядѣть и ярконарисовать многочисленныя тѣни закулиснаго міра.

Здѣсь, повидимому, и благородство и рыцарственность характеровъ проявляются по-особенному,—непремѣнно на манеръ шиллеровскаго Карла Моора или испанскаго витязя печальнаго образа. Несчастливцевъ, несомнѣнно, благороденъ,—но было бы несравненно цѣлесообразнѣе и для самого героя и для покровительствуемыхъ имъ лицъ, если бы его искреннія чувства поменьше украшались лицедѣйствомъ и всякими другими театральными лаврами. Хорошій, вѣроятно, человѣкъ и трагикъ въ пьесѣ «*Таланты и поклонники*»,—но на этотъ разъ весь героизмъ ограничивается непомѣрнымъ истребленіемъ крѣпкихъ напитковъ на счетъ купеческаго сына.

Рядомъ съ такими «благородными» личностями—Счастливцевъ, Робинзонъ, Шмага—откровенные прихлебатели и плуты. Что касается артистокъ—среди нихъ драматургъ, надо думать, нашелъ еще меньше героинь. Самая доблестная, несомнѣнно, Кручинина,—*но за то* она и вызываетъ повальную противъ себя ненависть—*среди своихъ сподвижниковъ* по сценѣ. Они даже даютъ другъ другу «*благородное, самое* благородное» слово, замышляя подлую интригу

противъ «институтки» и «отшельницы». Въ другой пьесѣ—Нѣгина, артистка то же изъ добродѣтельныхъ, по болѣе падкихъ на соблазны,—очень опредѣленно объясняетъ это явленіе. Она оправдываетъ свою слабость, она не можетъ оставаться добродѣтельной, т. е. честной женщиной: на сценѣ это значилобы явиться героиней, т. е.—поясняетъ Нѣгина—«укоромъ для другихъ».

Рядомъ съ актерскимъ міромъ—идетъ длинный рядъ болѣе простыхъ интеллигентныхъ лицъ. Ихъ удобно можно распредѣлить по двумъ типамъ: вполнѣ мѣткія наименованія даетъ одна изъ пьесъ Островскаго «*Волки и овцы*» (1875). Взаимнымъ нравственнымъ и житейскимъ отношеніямъ этихъ двухъ человѣческихъ породъ посвящены почти всѣ пьесы семидесятыхъ годовъ—«*Поздняя любовь*» (1874), «*Трудовой хлѣбъ*» (1874), «*Богатыя невѣсты*» (1876), «*Безприданница*» (1879), отчасти—«*Послѣдняя жертва*» (1878). Самая талантливая изъ Этихъ пьесъ, несомнѣнно—«*Волки и овцы*», и именно она—наравнѣ съ «*Лѣсомъ и Грозой*»—является чаще всего на русскихъ столичныхъ и провинціальныхъ сценахъ.

Дѣйствующія лица здѣсь особенно любопытны: они показываютъ, какія разнообразныя натуры выработало наше крѣпостное право — съ волчьей и овечьей психологіей. Въ первомъ ряду волковъ красуется Миропа Мурзавецкая — ханжа и деспотка. Вся ея плоть и кровь пропитана крѣпостническими преданіями и инстинктами. Она ни во что цѣнитъ чужую личность, особенно мужицкую, свободный чужой трудъ продолжаетъ считать чуть не барщиной, къ суду и властямъ относится по-старому, т. е. всецѣло полагаясь на взятку, мошенничество,—тайное и явное насиліе надъ «овцами». Но Мурзавецкая — *русскій* волкъ — дворянинъ, т. е. съ большой примѣсью малодушія и даже простодушія. У этого волка не выдержанная политика и короткая душа. Онъ смѣлъ и самоувѣренъ до перваго столкновенія съ человѣкомъ—болѣе ловкимъ и сильнымъ. Онъ все время дрожитъ при мысли быть пойманнымъ съ поличнымъ, и разъ это несчастье обрушивается на него—волкъ мгновенно превращается въ зайца.

Эта психологія очень тонко проведена авторомъ. Сцена Мурзавецкой съ Беркутовымъ—умницей и законникомъ—одна изъ самыхъ блестящихъ по художественному и реальному сліянію трагизма съ комизмомъ. Мурзавецкая при первомъ же намекѣ на незаконность ея дѣйствій, — начинаетъ проговариваться, минуту спустя во всемъ сознается и умоляетъ Беркутова — спасти ее: «Батюшка, не погуби!» И дальше—«ничѣмъ, батюшка», «ужъ не упомяну, батюш-

ка»—все это подлинныя страданія заячьей души. А фраза на счетъ окружнаго суда—верхъ совершенства: «боюсь я, голубчикъ, окружнаго суда; страсть какъ боюсь»!.. Правдивѣе не могла высказаться дореформенная оторопь русской помѣщицы.

Среди овецъ—самая привлекательная и породистая — богатый баринъ Лыняевъ. Въ его природѣ таится нѣчто Обломовское, — но онъ не байбакъ, онъ даже дѣятель и съ благороднымъ направленіемъ. Но въ немъ много пассивности, безотчетнаго добродушія, отчасти барской лѣни и неохоты — всегда и во всемъ проявлять свою личность. И, разумѣется, онъ цѣликомъ попадаетъ въ лапы красиваго волка—дѣвицы, берущей на себя обязанность — думать и рѣшать за свою жертву.

Развязка пьесы, не смотря на очень яркое названіе, вполнѣ благополучна. Но это — не общій законъ: овцамъ далеко не всегда приходится находить такихъ искусныхъ и въ то же время благородныхъ защитниковъ, какъ Беркутовъ. Человѣческая наивность и склонность къ искреннимъ безкорыстнымъ чувствамъ—благодарнѣйшій матеріалъ въ рукахъ эгоистовъ и стяжателей. Требуются большія усилія и тяжелыя страданія, чтобы овцѣ спастись отъ волчьихъ зубовъ — все равно мужчина или женщина обладаетъ этими зубами.

XV.

Волки мужской породы — разнообразнѣе и опаснѣе. Даже волчата весьма часто являются истинной карой для дѣвушекъ-овецъ. Еще въ «*Бѣдной невѣстѣ*» Островскій изобразилъ совсѣмъ ничтожнаго волченка. Меричъ — и пошлъ, и неуменъ, повидимому — совсѣмъ безъ зубовъ и когтей, — но для Маши Незабудкиной и онъ герой — просто потому, что знаетъ чувствительныя слова, чисто одѣвается, обладаетъ симпатичной внѣшностью, главное — увѣренъ въ своей неотразимости и ловко умѣетъ представить ее въ самомъ ослѣпительномъ свѣтѣ.

Это—самый распространенный типъ волка, долговѣчное наслѣдіе московскаго чайльдъ-гарольдства и негарольства. Въ пьесѣ «*Трудовой хлѣбъ*» геройствуетъ второе изданіе Мерича—Копровъ: «молодой человѣкъ, очень приличенъ и красивъ, одѣтъ безукоризненно, манеры изящны». Только нѣкоторыя отдѣльныя черты въ этомъ изданіи подчеркнуты рѣзче, повышено нахальство, расширена жажда дешевыхъ удовольствій съ примѣсью сильныхъ ощущеній, —въ основѣ то же духовное тщедушіе и безличіе. Но и здѣсь

дѣло не обходится безъ страдающей овцы — красивой дѣвушки — трогательной по своей искренности и истинно-драматической въ своемъ заблужденіи.

Въ «*Послѣдней жертвѣ*» — однородное явленіе: Дульчинъ ближе къ Копрову, чѣмъ къ Меричу, въ немъ больше хищности и отваги—но только потому, что жертва его ужъ слишкомъ безобидна и считаетъ за счастье отдаться ему въ руки. А на самомъ дѣлѣ онъ — жалокъ и смѣшенъ, — такъ именно и обходится съ нимъ простая, но умная старуха въ самый трагическій для него моментъ, когда у него «сорвалось» и онъ желаетъ застрѣлиться. У Копрова въ такомъ же положеніи хватаетъ духу дѣйствительно покончить съ собой, — Дульчинъ измѣняетъ рѣшеніе, вполнѣ удостоиваясь насмѣшекъ Глафиры Фирсовны.

Болѣе породистые волки на сценѣ—въ пьесахъ «*Богатыя невѣсты*» и «*Безприданница*». Собственно породу ихъ слѣдуетъ отнести преимущественно на счетъ ихъ блестящаго матеріальнаго положенія, — гораздо больше, чѣмъ на счетъ личныхъ нравственныхъ силъ. Генералъ Гнѣвышевъ, развратитель молодой дѣвицы— внушителенъ вовсе не своимъ умомъ или какими-либо талантами, а именно генеральствомъ и богатствомъ. Копровъ и Дульчинъ сами ищутъ какъ бы пристроиться къ богатымъ женщинамъ,—Гнѣвышевъ имѣетъ средства *купить* женщину: въ этомъ собственно основа его превосходства. Онъ можетъ дать большое приданое за своей любовницей, кромѣ того онъ дѣйствительный статскій совѣтникъ,—очевидно онъ сила и «демонъ» даже для тѣхъ же Копровыхъ, Меричей и Дульчиныхъ—титулярныхъ совѣтниковъ и пролетаріевъ.

Наконецъ, самый пышный представитель волчьей расы—герой «*Безприданницы*» —Паратовъ. Онъ именуется «блестящимъ бариномъ изъ судохозяевъ», — слѣдовательно опять наслѣдственныя основы демонизма, а благопріобрѣтенныя — изумительная мелкота овечьяго стада. Къ началу пьесы демоническій духъ Паратова на исходѣ: герою грозитъ бѣдность, и онъ намѣренъ кончить богатой женитьбой: единственное средство спасти блескъ и барство. У Паратова эта карьера выходитъ чѣмъ-то въ родѣ героическаго самопожертвованія,—Писемскій—въ такихъ случаяхъ откровенно называетъ вещи настоящими именами: его Паратовъ—monsieur Батмановъ— пристраивается ко вдовѣ-купчихѣ, живетъ у нея въ домѣ, ходитъ въ бриллiантахъ и спаиваетъ шампанскимъ цѣлое общество. Таково назначеніе и Паратова, что не мѣшаетъ ему жестоко измываться надъ овцами—глупымъ чиновникомъ, нищей средствами и *честью—благородной* вдовой и ея психопатической дочерью.

Въ результатѣ — мы приходимъ къ вполнѣ очевидной истинѣ: волки развиваются и процвѣтаютъ благодадаря забитой и безличной средѣ. Ничтожные сами по себѣ, они производятъ впечатлѣніе великановъ съ помощью самыхъ заурядныхъ доблестей — начиная съ моднаго костюма и кончая артистической любовью къ кутежамъ и цыганскимъ пѣснямъ. Но овечье стадо до такой степени мелкотравчато, что даже бутылки шампанскаго и ухорскій вопль нагоняютъ на него оторопь и внушаютъ благоговѣніе.

На томъ же основаніи зиждется благополучіе и волковъ женскаго пола. Типъ демонической женщины очень распространенъ въ русской литературѣ,—тургеневская Полозова—его классическая представительница — такъ же, какъ лермонтовскій Печоринъ — глава русскихъ демоновъ.

У Островскаго типъ этотъ повторяется неоднократно: Глафира въ пьесѣ «*Волки и овцы*» — самая породистая особь, со всѣми естественными признаками демонизма, — съ холоднымъ сердцемъ, съ неотразимой способностью очаровывать и подчинять слабыя души и безпощадно пользоваться своей властью надъ ними.

Болѣе блѣдный образъ съ тѣми же чертами — Лебедкина въ «*Поздней любви*». У нея нѣтъ ума и воли Глафиры, но она за то богата и свободна,—имѣетъ возможность быть эксцентричной и привередливой: этого достаточно, чтобы нашлись овцы въ лицѣ симпатичнаго, но тряпичнаго молодого человѣка и его мамаши, готовой по своей бѣдности и мѣщанской кротости молиться на богатую и веселую побѣдительницу предразсудковъ.

Новая полоса въ творчествѣ Островскаго оставила въ русской литературѣ не менѣе поучительное богатство общественныхъ явленій, чѣмъ раннее воспроизведеніе почвенной московской жизни. И замѣчательно,—драматургъ перешелъ къ міру интеллигенціи послѣ того, какъ, повидимому, окончательно исчерпалъ сокровища темнаго царства. Въ пьесахъ семидесятыхъ годовъ безпрестанно слышатся отголоски прежняго творчества — появляются купцы-самодуры, приказные-стрекулисты и «кровопійцы», — но всѣ они или повтореніе уже раньше созданныхъ фигуръ или сравнительно тусклые ихъ отблески. Если же авторъ цѣликомъ посвящаетъ пьесу старой темѣ, — такая пьеса ему гораздо меньше удается, чѣмъ «интеллигентная». Онъ видимо затрудняется въ чисто-художественномъ матеріалѣ, будто боится — не остаться на уровнѣ должнаго комизма,—и безпрестанно впадаетъ въ шаржъ.

Таковы пьесы — «*Горячее сердце*» (1869), «*Не все коту масляница*» (1871), «*Правда хорошо, а счастье лучше*»

(1877), «*Сердце не камень*» (1880) и отчасти «*Не было ни гроша да вдругъ алтынъ*» (1872).

Здѣсь купцы или подлинные уроды, чудовища или прямо невмѣняемы. Конечно, — и Китъ Китычъ не представляетъ изъ себя явленія прекраснаго и разумнаго, — но онъ не идіотъ и не сумасшедшій. У него даже, какъ увидимъ позже, имѣются извѣстныя жизненныя и логическія основанія — подчасъ непремѣнно быть самодуромъ,—все равно какъ Паратову естественно быть героемъ рядомъ съ г-жей Огудаловой, ея дочерью и особенно чиновникомъ Корандышевымъ.

Ничего подобнаго въ самодурствѣ — Курослѣпова и Хлынова въ «*Горячемъ сердцѣ*». Они по всѣмъ признакамъ готовые паціенты психіатрической больницы,—оба просто алкоголики, дошли до послѣднихъ предѣловъ отупѣнія и разнузданности. Прирожденный и безнадежный глупецъ—Аховъ, герой пьесы «*Не все коту масляница*». Въ самодурскомъ ослѣпленіи онъ поминутно остается въ дуракахъ и утрачиваетъ всякій здравый смыслъ — въ своихъ притязаніяхъ на раболѣпіе людей ему чужихъ и отъ него независимыхъ. И на Ахова такъ же, какъ и на Курослѣпова и Хлынова нападаютъ времена полной невмѣняемости, очевидной даже для самыхъ простодушныхъ наблюдателей.

Не далеко ушли отъ этого сумасшедшаго дома дѣйствующія лица въ пьесѣ «*Сердце не камень*»: старикъ Коркуновъ, совсѣмъ выжившій изъ ума и его племянникъ — кутила, преступникъ, не отступающій даже передъ разбоемъ противъ жены дяди.

Такимъ въ сильной степени каррикатурнымъ представителямъ московской купеческой *почвы* соотвѣтствуютъ и другіе столь же почвенные герои—приказные и всякаго рода паразиты. Городничій въ «*Горячемъ сердцѣ*» — съ совершенно необычной откровенностью изъясняется на счетъ взятокъ, требуетъ ихъ во весь голосъ, грозитъ побоями тѣмъ, кто не въ состояніи платить, издѣвается надъ законами, отказывается защищать приказчиковъ противъ хозяевъ, спрашивая у нихъ: «вы что-ль меня кормить будете?»

Послѣдняя глава изъ жизни подобнаго откровеннаго грабителя — разсказана въ пьесѣ «*Не было ни гроша да вдругъ алтынъ*». Бывшій приказный Крутицкій владѣетъ большими деньгами и моритъ голодомъ жену и племянницу. Душевный недугъ— внѣ сомнѣнія, и Крутицкій кончаетъ самоубійствомъ изъ-за жадности.

Сгущая краски на дѣйствующихъ лицахъ,—авторъ не съ прежнимъ искусствомъ справляется и съ содержаніемъ своихъ пьесъ.

Въ произведеніяхъ перваго періода изъ купеческаго быта Островскій, видимо, даже и не заботился о томъ, что называется интригой. Онъ бралъ нѣсколько яркихъ жизненныхъ фигуръ, ставилъ ихъ во взаимныя отношенія, — и дѣйствіе развивалось само собой,—изъ данныхъ психологическихъ основъ.

Теперь драматургъ придумываетъ завязку и развязку и иногда весьма хитрую и неожиданную. Напримѣръ въ пьесѣ — «*Правда хорошо, а счастье лучше*» является «ундеръ» Грозновъ прямо романтическимъ героемъ и, какъ подобаетъ, олицетворяетъ въ себѣ провидѣніе для гонимыхъ и несчастныхъ. Онъ когда-то имѣлъ любовную исторію и такую, по выраженію самого героя, что «и думать, такъ не придумаешь». Его жертва вышла замужъ и дала ему клятву—ровно настолько же страшную, насколько и безсмысленную: «на морѣ, на океанѣ, на островѣ на буянѣ». Несчастная поклялась,—если ундеръ вернется съ войны—она исполнитъ всякую его просьбу. И вотъ онъ возвращается какъ разъ во-время, чтобы осчастливить два юныхъ сердца.

Въ подобномъ духѣ и сюжеты остальныхъ пьесъ: въ одной — внезапное спасеніе отъ смертельной опасности, въ другой — необыкновенно умѣстная находка денегъ бѣднякомъ и самоубійство скряги, въ третьей — водевильное превращеніе дѣвицы и невѣсты одного глупаго парня въ невѣсту другого, отвергающаго такое счастье потому, что его—избранника—много били по затылку и у него «очень много чувствъ отшибено».

Очевидно, — творчество драматурга въ томъ направленіи, какимъ началась его дѣятельность, обнаружило ясные признаки ослабленія,—можно сказать—художественнаго вырожденія. Мотивы для вдохновенія — спокойнаго, исполненнаго правды и жизни, — были использованы, — оставалось *злоупотреблять* однородными задачами, впадать въ портретность и эпизодичность,—т. е. вводить въ пьесы личностей и факты, похожіе скорѣе на исключительныя, единичныя явленія, чѣмъ на типы и нравы хотя бы даже замоскворѣцкаго міра.

Но, мы видѣли, въ другомъ направленіи творчество Островскаго оставалось по-прежнему художественнымъ и жизненнымъ. Здѣсь еще предстояло исчерпывать богатый запасъ характеровъ, драматическихъ и комическихъ положеній, и Островскій оставилъ въ высшей степени жизненное наслѣдство русской сценѣ, показалъ, до *какой* степени талантъ его разностороненъ и воспріимчивъ.

Къ восьмидесятымъ годамъ Островскій занималъ мѣсто вождя и *учителя русской* драмы и сцены и стоялъ въ первомъ ряду совре-

менныхъ писателей. Со всѣми этими правами онъ и явился участникомъ пушкинскихъ празднествъ въ іюнѣ 1880 года.

XVI.

Въ Москвѣ открывали памятникъ великому поэту. Торжество собрало извѣстнѣйшихъ дѣятелей современной русской науки и литературы. Втеченіи двухъ дней устраивались засѣданія Обществомъ Любителей Россійской Словесности и произносились рѣчи въ честь родоначальника русской національной поэзіи. Восьмого іюня Общество устроило обѣдъ, и Островскій произнесъ здѣсь обширную рѣчь.

Драматургъ перечислялъ заслуги Пушкина и первою среди нихъ признавалъ: «черезъ него умнѣетъ все, что̀ можетъ поумнѣть». Значеніе высшей творческой натуры Островскій видѣлъ въ возвышеніи душъ, въ улучшеніи помысловъ, въ утонченіи чувствъ. Онъ вполнѣ точно опредѣлялъ мѣсто Пушкина въ исторіи русской литературы: Пушкинъ «далъ серьезность, поднялъ тонъ и значеніе литературы, воспиталъ вкусъ въ публикѣ, завоевалъ ее и подготовилъ для будущихъ литераторовъ, читателей и цѣнителей». Это значитъ—Пушкинъ превратилъ литературу въ общественное дѣло, вложилъ въ нее значительное жизненное содержаніе. Эти цѣли заставили Пушкина думать и писать совершенно независимо отъ иноземныхъ образцовъ, создать собственное направленіе, освободить литературу отъ реторическихъ условностей и школьныхъ формулъ, взглянуть на дѣйствительность свободно, непосредственно и столь же просто и свободно воспроизводить ее.

Рѣчь Островскій заключилъ также простыми, но мѣткими словами, вполнѣ точно оцѣнивавшими значеніе пушкинскаго торжества:

«Онъ завѣщалъ намъ искренность, самобытность, завѣщалъ каждому русскому писателю быть русскимъ. Вѣдь это только легко сказать! Это значитъ, что онъ — Пушкинъ — раскрылъ русскую душу. Конечно, для послѣдователей путь его труденъ, но если литература наша проигрываетъ количествомъ, то выигрываетъ качествомъ. Не много нашихъ произведеній идетъ на оцѣнку Европы, но въ этомъ немногомъ оригинальность наблюдательности, самобытный складъ мысли замѣчены и оцѣнены по достоинству. Теперь остается пожелать Россіи болѣе такихъ талантовъ, пожелать русскому уму поболѣе развитія, простора, а путь, по которому идти

талантамъ, указанъ нашимъ великимъ поэтомъ. Предлагаю тостъ за русскую литературу, которая пошла и идетъ по пути, указанному Пушкинымъ. Выпьемъ весело за вѣчное искусство, за литературную семью Пушкина, за русскихъ литераторовъ! Выпьемъ очень весело этотъ тостъ. Нынче на нашей улицѣ праздникъ!»

Вскорѣ Островскому пришлось выступить съ новымъ общественно-литературнымъ дѣломъ. Оно подсказывалось всей его писательской славой, основными достоинствами его таланта, отвѣчало его давнимъ и задушевнымъ желаніямъ.

Императоръ Александръ III немедленно по вступленіи на престолъ отмѣнилъ монополію казенныхъ театровъ въ столицахъ. Эта отмѣна влекла за собой возникновеніе частныхъ сценъ. Островскій поспѣшилъ воспользоваться ею для осуществленія самой настоятельной художественной цѣли въ русскомъ искусствѣ — для основанія образцоваго народнаго театра.

Въ качествѣ предсѣдателя *Общества драматическихъ писателей* Островскій представилъ государю записку.

Онъ указывалъ на безпрерывный и сильный ростъ театральной публики. Она умножается съ каждымъ поколѣніемъ, спросъ на театральныя зрѣлища давно превысилъ предложеніе. До 1853 года драматическія представленія давались въ Большомъ театрѣ,—но и онъ уже былъ тѣсенъ. Потомъ драму перевели въ Малый театръ, т. е. еще съузили доступъ на спектакли, и огромное большинство публики осталось безъ театра.

А между тѣмъ Москва съ каждымъ годомъ ширится и все гуще населяется, какъ центръ Россіи. Авторъ записки пользуется случаемъ выразить свои завѣтныя сыновнія чувства къ дорогому городу: «тамъ древняя святыня, тамъ историческіе памятники, тамъ короновались русскіе цари и коронуются русскіе императоры; тамъ въ виду торговыхъ рядовъ, на высокомъ пьедесталѣ, какъ образецъ русскаго патріотизма, стоитъ русскій купецъ Мининъ. Въ Москвѣ всякій пріѣзжій, помолясь въ Кремлѣ русской святынѣ и посмотрѣвъ историческія достопамятности, невольно проникается русскимъ духомъ. Въ Москвѣ все русское становится понятнѣе и дороже... Москва — городъ вѣчно обновляющійся, вѣчно юный, черезъ Москву волнами вливается въ Россію великорусская народная сила».

Ясно, — какое цивилизующее значеніе можетъ имѣть Москва для народа, — и театръ долженъ стоять здѣсь на первомъ планѣ. *Его дѣйствіе на «свѣжую душу»* особенно сильно. «Театръ съ честнымъ, *художественнымъ*, здоровымъ народнымъ репертуаромъ развиваетъ *народное самопознаніе* и воспитываетъ сознательную лю-

бовь къ отечеству, онъ необходимъ для Москвы. Такой театръ былъ бы по истинѣ наукой и для русскаго драматическаго искусства. Мы должны начинать сначала, должны начинать свою русскую народную школу, а не слѣпо идти за французскими образцами и писать по ихъ шаблонамъ разныя тонкости, интересныя только пресыщенному вкусу. Русская нація еще складывается, въ нее вступаютъ свѣжія силы, зачѣмъ же намъ успокоиваться на зрѣлищахъ, тѣшащихъ извращенные вкусы?»

Островскій указывалъ на глубокій недугъ русской сцены, существующій въ полномъ расцвѣтѣ и до сихъ поръ. Въ Москвѣ и, слѣдовательно, вообще на русской сценѣ нѣтъ труппы для бытового и историческаго репертуара. Актеры коснѣютъ на шаблонныхъ безцвѣтныхъ роляхъ, международнаго характера. Нѣтъ и театра для самой отзывчивой, благодарной и свѣжей публики. Театръ удовлетворяетъ только спросу людей слишкомъ усталыхъ и нервныхъ, чтобы оцѣнить сильный драматизмъ, крупный комизмъ, понять горячія искреннія чувства и живые сильные характеры.

Драматическая поэзія ближе къ народу, чѣмъ всѣ другія искусства, и въ этой близости ея сила, ея спасеніе отъ измельчанія и опошленія. Только истинно-народныя произведенія переживаютъ вѣка,—и Островскій заключаетъ свою записку указаніемъ на облагораживающее вліяніе истиннаго искусства на общество и народъ, на опасность—безъ русскаго образцоваго театра—всему театральному дѣлу въ Россіи попасть въ руки спекулянтовъ.

Императоръ Александръ III сочувственно встрѣтилъ записку и отвѣтилъ на нее собственноручной подписью: «Было бы весьма желательно осуществленіе этой мысли, которую я раздѣляю совершенно».

Островскому было разрѣшено устроить въ Москвѣ частный русскій театръ. Драматургъ ревностно принялся за разрѣшеніе задачи. Онъ обратился къ «просвѣщенному московскому обществу» съ приглашеніемъ принять участіе въ осуществленіи мысли, одобренной государемъ. Онъ предлагалъ общую программу—устройства будущаго національнаго театра, опредѣлялъ количество мѣстъ и ихъ цѣну, давалъ общія правила на счетъ состава труппы, постановки пьесъ, репертуара—чтобы театръ «производилъ на публику воспитательное дѣйствіе». Пьесы должны ставиться только избранныя, истинно-художественныя, потому что только такія произведенія «производятъ на публику желанное цивилизующее дѣйствіе». Новыхъ пьесъ ежегодно слѣдуетъ давать—одну или двѣ историческихъ драмы, три-четыре комедіи, одну пьесу сказочнаго содержа-

нія для святочныхъ и масляничныхъ спектаклей. Въ запасный репертуаръ, наравнѣ съ лучшими русскими произведеніями, должны входить классическія иностранныя пьесы, имѣющія всемірное художественное значеніе и ставшія достояніемъ всѣхъ образованныхъ націй.

При запискѣ Островскій печатаетъ проектъ устава товарищества на паяхъ—въ январѣ 1883 года. Въ этомъ же мѣсяцѣ Островскій получилъ краснорѣчивое доказательство, какъ высоко государь цѣнилъ его заслуги предъ русской литературой. Ему была пожалована пожизненная пенсія въ 3,000 рублей. Вскорѣ должно было послѣдовать новое правительственное распоряженіе, удовлетворившее, повидимому, самымъ смѣлымъ мечтамъ и надеждамъ даровитаго печальника о судьбахъ русской драмы и сцены.

Дѣятельность Островскаго вступала на другой—художественно-практическій путь. Его мысль была поглощена новыми задачами, и для творческой работы оставалось и мало времени и еще меньше спокойствія.

Объ этомъ фактѣ свидѣтельствуютъ послѣднія произведенія нашего драматурга.

Онъ по-прежнему остается въ области интеллигентнаго русскаго міра,—но съ самаго начала восьмидесятыхъ годовъ его творчество и здѣсь начинаетъ блѣднѣть и прибѣгать къ средствамъ, не свойственнымъ прежней, всегда жизненной и спокойной, работѣ писателя.

Комедія «*Невольницы*» (1881) явно знаменуетъ поворотъ отъ яркаго художественнаго возсоздаванія лицъ и фактовъ въ сторону простыхъ сценическихъ діалоговъ — неизмѣнно очень живыхъ, содержательныхъ, полныхъ остроумія и идей,—но создающихъ на сценѣ движенія и драматизма и большею частью одинаково безполезныхъ и для развитія дѣйствія и для уясненія психологіи дѣйствующихъ лицъ. Драматургъ, разумѣется, старался остаться на высотѣ современности, брать темы и героевъ изъ текущей дѣйствительности, драматизировать жгучіе общественные интересы.

Такова, напримѣръ, комедія «*Красавецъ-мужчина*» (1883). Въ результатѣ получалось, несомнѣнно, мало сценъ—дѣйствительно характерныхъ, являлись лица болѣе или менѣе вѣрно схваченныя,—но вся пьеса превращалась въ рядъ иллюстрацій къ ненаписанной публицистической статьѣ, составившейся въ умѣ драматурга. Выходила не драма съ значительными художественно - обобщенными общественными явленіями, а сценическое представленіе съ *интересными ролями*.

«*Красавцу-мужчинѣ*» отдана четырехъактная пьеса: это совер-

шенно не соотвѣтствуетъ *психологическому* содержанію избраннаго героя и его значительности, какъ общественнаго явленія. Естественно пьесу пришлось наполнить исключительно театральнымъ матеріаломъ, т. е. болѣе или менѣе случайными встрѣчами, болѣе или менѣе правдоподобными поступками дѣйствующихъ лицъ, болѣе или менѣе оживленными діалогами.

Послѣдняя пьеса—«*Не отъ міра сего*» (1885) даже не можетъ подлежать критикѣ, какъ пьеса Островскаго: такъ мало въ ней слѣдовъ его таланта, и той самой простоты и непосредственности, какую онъ недавно объявлялъ величайшимъ достоинствомъ пушкинскаго генія.

Главная героиня—дѣйствительно не отъ міра сего, но не столько по своимъ идеальнымъ совершенствамъ, сколько по судьбѣ, устраиваемой для нея авторомъ. Она является на сцену—одни говорятъ вполнѣ здоровой и это люди честные и правдивые, другіе—будто совсѣмъ больной—по словамъ явнаго проходимца. Произноситъ удивительная героиня нѣсколько чувствительныхъ монологовъ, впадаетъ въ необъяснимый психопатическій ужасъ предъ однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ—человѣкомъ безобиднымъ и на рѣдкость добрымъ, только любящимъ пожить,—и, наконецъ, внезапно умираетъ отъ легкомысленныхъ счетовъ мужа съ нѣкоей пѣвицей, умираетъ самой ангельской и краснорѣчивой смертью,—оставаясь въ живыхъ ровно настолько, чтобы сказать мужу-грѣшнику о своей любви къ нему и о прощеніи.

Очевидно,—съ творческой дѣятельностью Островскаго происходилъ кризисъ и врядъ ли къ выздоровленію. Самъ драматургъ, повидимому, чувствовалъ состояніе своего таланта. Онъ съ еще большимъ усердіемъ, чѣмъ раньше, обратился къ переводамъ. Въ годъ смерти Островскаго вышли «*интермедіи*» Сервантеса въ его переводѣ, и, мы знаемъ,—онъ до конца лелѣялъ мысль о переводѣ Мольера. Врядъ-ли она осуществилась бы сполна: Островскій все свое предсмертное время отдалъ необыкновенно сложной и утомительной работѣ.

XVII.

Одобреніе государемъ записки Островскаго о народномъ театрѣ естественно завершилось практическимъ назначеніемъ. Во второй половинѣ 1885 года вопросъ былъ рѣшенъ окончательно,—и еще раньше Александръ III, въ первый разъ встрѣчая Островскаго, заявилъ ему:

— Поручая вашему вѣдѣнію свои театры, я увѣренъ, что они будутъ въ хорошихъ рукахъ. Дѣлайте все, что найдете полезнымъ для процвѣтанія ихъ.

Перваго января 1886 года управляющимъ Императорскими Московскими театрами былъ назначенъ А. А. Майковъ,—Островскій завѣдующимъ репертуарной частью и начальникомъ театральнаго училища. Московскіе театры получили самостоятельное управленіе и двухъ хозяевъ: собственно по хозяйственной части и по художественной и учебной. Важнѣйшія обязанности легли на Островскаго, на самомъ дѣлѣ единственнаго распорядителя театральнымъ дѣломъ,—и онъ немедленно весь отдался своему долгу.

У него давно уже былъ намѣченъ цѣлый рядъ реформъ. Еще раньше, когда была образована комиссія для пересмотра старыхъ театральныхъ постановленій и порядковъ, Островскій принялъ живѣйшее участіе въ ея работахъ. Еще тогда онъ неутомимо составлялъ записки, историческіе обзоры, проекты,—и особенно хлопоталъ объ учрежденіи театральной школы.

«Если я доживу до тѣхъ поръ», говорилъ онъ, «то исполнится мечта всей моей жизни, и я спокойно скажу: нынѣ отпущаеши раба твоего съ миромъ!..»

Теперь только что полученное назначеніе онъ называлъ счастьемъ. Онъ почувствовалъ новый приливъ силъ, восторженный подемъ духа, и «съ непогасшею еще страстностью», говорилъ онъ— взялъ на свои плечи новую ношу. Онъ прибавлялъ, что плечи были уже усталыя, а ноша тяжела и непосильна. Но дѣйствительно страстная любовь къ дѣлу—должна восполнить всѣ немощи и тягости.

Прежде всего Островскій принялся за вопросъ о школѣ. По обыкновенію,—онъ и на этотъ счетъ составилъ обстоятельную записку. Театральное училище должно поставлять артистовъ на императорскую сцену. Теперь эта сцена вынуждена пополнять свою труппу провинціальными актерами и даже любителями: явленіе— ненормальное и даже убыточное. Школа и сцена должны быть неразрывно другъ съ другомъ связанными учрежденіями. Изъ школы ученики должны поступать на сцену и здѣсь — среди опытныхъ артистовъ завершать свое художественное воспитаніе, выростать на глазахъ публики. Театръ—естественное продолженіе школы,— и такъ должно быть одинаково и для драмы и для оперы. Не оставилъ Островскій безъ вниманія и балетъ. Онъ хотѣлъ обновить его, сообщить ему занимательность—съ помощью феерій и сказочныхъ представленій. Наконецъ драматургъ входилъ и въ частные вопросы театральной службы, тщательно пересмотрѣлъ составъ лицъ, завѣдую-

щихъ постановкой и исполненіемъ пьесъ,—и предположилъ немало существенныхъ преобразованій и въ этой области.

Работа шла безостановочно, можно сказать,—Островскій полагалъ на нее всѣ свои духовныя и физическія силы. По временамъ имъ овладѣвала оторопь предъ громадностью и сложностью задачи, и онъ писалъ тогда: «нѣтъ, я чувствую, что у меня не хватаетъ силъ и твердости провести въ дѣло, на пользу родного искусства тѣ завѣтныя убѣжденія, которыми я жилъ, которыя составляютъ мою душу. Это положеніе глубоко трагическое».

Но эти настроенія не заставляли Островскаго опускать руки. Напротивъ,—послѣ тяжелаго раздумья онъ съ новымъ рвеніемъ набрасывался на работу и сообщалъ совсѣмъ другія вѣсти въ родѣ слѣдующей: «Вотъ уже двѣ недѣли я до самозабвенія работаю надъ преобразованіемъ театральнаго училища, а теперь страдаю на экзаменахъ всякой мелочи обоего пола».

Очевидецъ разсказываетъ, до какихъ предѣловъ доходило утомленіе Островскаго.

Почти каждый день онъ являлся домой измученный, съ потухшимъ взглядомъ, опускался въ кресло и втеченіи нѣкотораго времени не могъ вымолвить слова...

— Дай мнѣ опомниться, придти въ себя,—начиналъ онъ. Я сегодня чуть не умеръ. Мнѣ не хватало воздуха, нечѣмъ было дышать... Ревматизмъ не позволяетъ отъ боли пошевелить руками... народу, съ которымъ надо было объясняться, пропасть... потомъ доклады—я сегодня подписалъ шестьдесятъ бумагъ,—и вотъ видишь, въ какомъ состояніи воротился домой...

Едва отдохнувъ, вечеромъ онъ отправлялся въ театръ,—большею частью успѣвалъ посѣтить тотъ и другой, волновался, видя неисправности, и дома засыпалъ безпокойнымъ и тревожнымъ сномъ.

Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ изнурительнаго труда Островскій собрался поѣхать въ деревню. Имѣніе это—сельцо Щелыково, Кинешемскаго уѣзда—было пріобрѣтено еще отцомъ Островскаго, по завѣщанію покойнаго досталось его второй женѣ, и она продала его своему пасынку.

Мѣстность, гдѣ расположена усадьба,—въ высшей степени живописна, перерѣзывается тремя рѣчками, окружена лѣсомъ, съ балкона барскаго дома открывается великолѣпный видъ. Островскій очень любилъ проводить лѣто въ Щелыковѣ, страстный рыболовъ и отъ природы человѣкъ съ простыми вкусами, домосѣдъ и семьянинъ,—онъ чувствовалъ себя въ деревнѣ здоровымъ и счастливымъ. Программа жизни была не сложная, но приносившая писателю отрыхъ

и ясное радостное настроеніе духа: «читаемъ, гуляемъ въ своемъ лѣсу, ѣздимъ на Сендегу ловить рыбу, сбираемъ ягоды, ищемъ грибы... Отправляемся въ луга съ самоваромъ—чай пьемъ. Соберемъ помочь, станемъ пѣсни слушать, угощеніе жницамъ предоставимъ: все по предписанію врачей и на законномъ основаніи».

Такая же программа, несомнѣнно, имѣлась въ виду, когда, наконецъ, Островскій выѣхалъ изъ Москвы 28 мая.

Но уже въ день выѣзда Островскій чувствовалъ себя крайне плохо. За нѣсколько дней онъ простудился, ревматическія боли усилились, онъ уѣхалъ въ деревню—полуживой.

До Кинешмы все шло благополучно, но отъ города до деревни пришлось ѣхать на лошадяхъ, по дурной дорогѣ, въ холодную и дождливую погоду... Больной, видимо, пріѣхалъ умирать. Нѣсколько дней прожилъ онъ среди ужасныхъ страданій, по цѣлымъ часамъ не могъ пошевелиться,—утромъ 2-го іюня 1886 г. его не стало.

Похоронили Островскаго въ селѣ Бережкахъ, въ двухъ верстахъ отъ Щелыкова. Государь пожаловалъ на погребеніе 3,000 р., назначилъ вдовѣ пенсію въ 3,000 рублей и на воспитаніе дѣтей—2.400 ежегодно.

На гробъ покойнаго было возложено много вѣнковъ отъ художественныхъ и общественныхъ учрежденій. Московская городская дума 2 іюня 1887 года открыла народную читальню имени Островскаго а два года спустя послѣдовало Высочайшее соизволеніе на открытіе подписки повсемѣстно въ Имперіи для сбора пожертвованій на памятникъ Островскому въ Москвѣ. Втеченіи семи лѣтъ при Обществѣ русскихъ драматическихъ писателей было собрано около 13,000 рублей и, несомнѣнно, рано или поздно память одного изъ даровитѣйшихъ и усерднѣйшихъ тружениковъ русскаго слова будетъ почтена достойно его таланта и труда.

XVIII.

Мы видѣли—творческая дѣятельность Островскаго начала слабѣть и падать уже за нѣсколько лѣтъ до его смерти. Онъ самъ говорилъ, что нуждается въ сотрудникахъ, намѣренъ приняться за переводы. Сотрудники врядъ-ли могли вернуть для драматурга дни свѣжаго и сильнаго творчества, Островскому, очевидно, предстояло *другое* поприще, и здѣсь онъ, несомнѣнно, оказалъ бы великія *услуги русскому искусству*, если бы смерть не прервала его дѣла въ *самомъ началѣ*.

Но какъ бы ни былъ рѣшителенъ упадокъ художественнаго таланта Островскаго,—литературное наслѣдство представляется вполнѣ законченнымъ, можно сказать классическимъ. Мы видѣли,—оно заключается въ трехъ сокровищахъ: бытовая комедія, историческая драма и пьесы изъ міра интеллигенціи пореформенной эпохи.

Всѣ эти пути, какими шелъ Островскій, — имѣютъ не одинаковое значеніе въ исторіи русской литературы. Первое мѣсто принадлежитъ бытовой комедіи. Островскій открылъ—вполнѣ самостоятельно—цѣлую область, богатую самобытными чертами быта, оригинальными характерами, своеобразнымъ языкомъ и складомъ мыслей и чувствъ. Только для нѣкоторыхъ типовъ у него были предшественники,—но *учителями* его ихъ слѣдуетъ признать съ большими ограниченіями.

Гоголь до Островскаго создалъ типъ купеческой свахи, нарисовалъ множество фигуръ чиновниковъ, коснулся и купцовъ. Во всей той галлереѣ только сваха могла оказать извѣстную опору вдохновенію Островскаго: чиновники и купцы Гоголя при нѣкоторыхъ общихъ чертахъ съ героями Островскаго отличаются отъ нихъ настолько же, насколько петербургская департаментская канцелярія или провинціальный чернильный застѣнокъ отличаются отъ московскихъ присутственныхъ мѣстъ. О подражаніи или заимствованіи не могло быть и рѣчи.

Въ исторической драмѣ предшественникъ Островскаго—Пушкинъ,—но онъ вообще родоначальникъ этого жанра. Можетъ быть слѣдуетъ упомянуть здѣсь еще Хомякова. Онъ написалъ драму о Самозванцѣ, и у Островскаго оказались нѣкоторыя совпаденія съ этой пьесой. Но они обусловлены опять не подражаніемъ, а одинаковостью задачи и общностью источниковъ.

Въ результатѣ—Островскаго слѣдуетъ считать безусловно оригинальнымъ представителемъ московской комедіи и исторической хроники. Сравнительно менѣе значительны «интеллигентныя» пьесы: здѣсь у Островскаго было не мало талантливыхъ соревнователей,—и въ этой области не приходилось дѣлать открытій, не доступныхъ ни прежде, ни послѣ—другимъ писателямъ. Если бы дѣятельность Островскаго ограничилась только этими произведеніями,—онъ не имѣлъ бы значенія первостепеннаго классическаго русскаго драматурга. Но онъ дѣйствительно сказалъ *новое слово*,—правда не въ смыслѣ его славянофильскихъ поклонниковъ, т. е. не изобрѣлъ особой спеціально-русской культурной вѣры,—онъ расширилъ кругозоръ художественнаго русскаго генія, подчинивъ его власти—цѣлую породу невѣдомыхъ раньше людей и внесъ, слѣдо-

вательно, новое содержаніе въ общественную мысль. Россія—національная въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова, точнѣе московская Русь изучена и воспроизведена Островскимъ въ ея прошломъ и настоящемъ—съ безсмертной правдой и полнотой. Это—настоящій поэтъ «святой Руси», вдохновенный этнографъ и историкъ, сумѣвшій съ высоты современнаго просвѣщенія проникнуть въ затаеннѣйшіе уголки сложной и темной психологіи московскаго старозавѣтнаго человѣка. Какую неоцѣнимую услугу оказалъ онъ русской наукѣ и русской общественной политикѣ? Услугу тѣмъ болѣе рѣдкую, что Островскій во всѣхъ своихъ изслѣдованіяхъ національной почвы оставался художникамъ—безпристрастно наблюдающимъ спокойно-творящимъ и всегда поразительно яснымъ.

У весьма немногихъ писателей можно найти такой опредѣленный и идейно-вѣскій матерьялъ для публицистической характеристики общественныхъ явленій,—и всѣмъ извѣстно, какъ блестяще воспользовался этимъ качествомъ пьесъ Островскаго—Добролюбовъ.

Въ самомъ дѣлѣ,—какая прозрачность и тонкость рисунка! Стоитъ только вслушаться въ разговоры героевъ Островскаго,—въ вашей памяти непремѣнно останется множество оригинальнѣйшихъ оборотовъ рѣчи и мысли, — и вмѣстѣ съ ними навсегда рѣзкій, единственный по оригинальности— образъ.

Прежде всего—царь темнаго царства—московскій купецъ—«именитый» и «первостатейный». Собственно предѣлы его царства очень ограниченны: собственный домъ да собственная лавка. Но порода—въ высшей степени многочисленна, она населяетъ цѣлую страну,—и естественно подданныхъ у нея великое множество,—и ровно столько же «униженныхъ и оскорбленныхъ».

Почему же, непремѣнно, — гдѣ именитый купецъ—тамъ и несчастныя жертвы? Какъ могъ народиться и развиться особый типъ—*самодуръ*, разумное существо, не признающее ничьего разума и никакой логики, кромѣ своего каприза и произвола—«хоть ты ему колъ на головѣ теши?» И почему произволъ направленъ преимущественно на униженія и страданія другихъ: «Скажетъ—кто я? тутъ ужъ всѣ домашніе ему въ ноги должны, такъ и лежать, а то бѣда?»

Семьей не ограничиваются подвиги самодура. Существуютъ приказчики, молодцы, мальчишки, — народъ «купленый», въ пользу него даже законовъ не существуетъ, одна лишь «воля хозяйская».

Наконецъ,—вообще всякій слабый и безотвѣтный человѣкъ на каждомъ шагу подвергается опасности претерпѣть ущербъ своей чести и своему здоровью отъ самодура. Онъ будетъ поднятъ на смѣхъ

за плохое одѣяніе, за свою ученость, даже за свою честность, его вымажутъ сажей, заставятъ плакать, въ пуху вываляютъ,—вообще до послѣдней степени унизятъ, изломаютъ и исказятъ человѣческій образъ.

Можно подумать, — эти люди — прирожденные преступники, одержимые какимъ-то длящимся бѣшенствомъ. На самомъ дѣлѣ, — ничего подобнаго: это — вполнѣ мирные обыватели, весьма часто добродушные, даже наивные и съ большими задатками юмора. Какъ же они могутъ гордиться возможностью *всякаго* обидѣть, въ то время, какъ ихъ никто не обидитъ?

Вопросъ въ высшей степени важный. Онъ касается самыхъ основъ темнаго царства, его первоисточниковъ. Добролюбовъ, въ своихъ блестящихъ статьяхъ, миновалъ его; — а между тѣмъ только онъ исчерпываетъ до дна всю бездну тьмы и жестокости, порождающую ежедневно Большовыхъ, Брусковыхъ, Пузатовыхъ и создающую для нихъ сцену дѣйствія.

Драматургъ самъ даетъ вполнѣ ясный отвѣтъ. Брусковы вовсе не герои и не торжествующія животныя, какъ бы сильно они ни вопіяли о своемъ правѣ обижать и миловать. Они—по существу жертвы и даже трагическія несравненно болѣе сильныхъ самодуровъ. Собственнно ихъ самодурство—не-что иное, какъ дикій крикъ угнетенной человѣческой природы, въ свою очередь жестоко оскорбленной.

Одинъ изъ героевъ пьессы «*Комикъ XVII вѣка*»—вполнѣ точный двойникъ самодура XIX-го столѣтія—высказываетъ своей знакомой—такой же почвенной москвичкѣ—изумительно краснорѣчивую исповѣдь — на счетъ своихъ отношеній къ сыну, рабски ему послушному:

Вотъ, Татьяна
Макарьевна, родительскому сердцу
Не лестно ли такую зрѣть покорность
Сыновнюю! Когда тебѣ взгрустнется
Иль пьянъ придешь домой, на что утѣшнѣй
Поклоны ихъ земные! Заставляешь
Поклоны бить и веселишься духомъ,
Что какъ де ты ни малъ, ни пріобиженъ
Отъ властныхъ лицъ, а дѣтямъ домочадцамъ
Въ своемъ дому все тотъ же государь.

Совершенно такая же логика и у Брускова и у Дикого. Они принимаются за издѣвательство надъ домочадцами, когда сами попадаютъ въ безвыходное положеніе, когда ихъ собственное самолюбіе оскорблено. Тогда они становятся въ родѣ Поприщина и, [illegible] *нечно, требуютъ* знаковъ подданства. Также поступаютъ и ихъ

жертвы: въ конецъ забитая *супруга* Кита Китыча является *матерью*-деспоткой,—и говоритъ сыну тѣ самыя угрозы, какія сама слышитъ отъ мужа,—и доводы у нея тѣ же: «яйца курицу не учатъ».

Не остается безотвѣтнымъ и сынъ, — онъ также самодуръ — только лишь въ другой роли,—въ роли кутилы. Онъ скроменъ, но уже намѣренъ запить, а «стоитъ только начать, говоритъ онъ, то я чувствую, что вся тятенькина натура покажется».

Несомнѣнно, — и постигнетъ какого-нибудь «молодца», а тотъ въ свою очередь допечетъ Тишку, пока еще мальчишку, а Тишка выместитъ свою обиду на беззащитномъ «стрюцкомъ», высмѣетъ его лохмотья и слезы: со временемъ онъ при первой возможности заявитъ: кто я? чего моя нога хочетъ?

Это неразрывная круговая порука рабства и произвола. Къ этой цѣли направлено можно сказать все общественное воспитаніе этого міра. И попробуйте сыскать здѣсь виноватаго!

Напримѣръ, Андрей Титычъ—юноша, несомнѣнно, симпатичный, добрый и даже благородный. Но онъ уже зараженъ недугомъ: онъ издѣвается надъ какимъ-то бѣднякомъ учителемъ, ему нравится, какъ рядскіе кричатъ въ слѣдъ «ученаго»: «ты, окромя свинячьяго, на семь языковъ знаешь».

Андрея Титыча стыдятъ, — но онъ, нисколько не смущаясь, отвѣчаетъ: «Нельзя нашему брату не смѣяться, — потому эти стрюцкіе такія дѣла съ нами дѣлаютъ, что смѣху подобно... другой весь-то грошъ стоитъ, а такого изъ себя барина доказываетъ, — и не подступайся—засудитъ; а далъ ему цѣлковый или тамъ больше, глядя по дѣлу, да подпоилъ, такъ онъ хоть спирю плясать пойдетъ».

И мы это видимъ во-очію. Если не всякій «баринъ» готовъ плясать спирю, — то ужь непремѣнно за цѣлковый или больше, глядя по дѣлу, продастъ и совѣсть и законъ. Китъ Китычъ въ этомъ вопросѣ вполнѣ сходится съ сыномъ: «ужъ и вашъ-то братъ намъ солонъ приходится»,—говоритъ онъ барину и проситъ «пожалѣть человѣческую душу».

Но жалость барина извѣстная. Приказный Мудровъ прямо сознается, что у ихъ брата нѣтъ «человѣчества». Къ нимъ даже невиноватый является съ такимъ видомъ, будто его засудить могутъ, и готовъ платить деньги даже за ласковый взглядъ. И платитъ, потому что—говоритъ московская обывательница—«не бойся суда, а бойся судьи, пуще всего ты его бойся». Вполнѣ естественно: *вѣдь судъ* — объясняетъ приказный Крутицкій «торговля, а не *судъ»,—и кто меньше* беретъ, тотъ даже преступнѣе, потому что *дешевле продаетъ свою* совѣсть.

И такъ на дѣло смотрятъ не одни взяточники. Общественное мнѣніе раздѣляетъ тотъ же взглядъ. Взятки — только страшное слово: въ сущности это — благодарность, «а отъ благодарности отказываться грѣхъ, обидѣть человѣка надо».

Такъ разсуждаетъ вдова коллежскаго ассесора, дающая дочерямъ «благородное воспитаніе». Важный чиновникъ безусловно подтверждаетъ ея взглядъ: «не пойманъ не воръ»,—такъ общество смотритъ на взяточниковъ, — и общество интеллигентное, — не замоскворѣцкое.

Гдѣ же послѣ этого Брускову додуматься до высшихъ понятій? Онъ, разумѣется, призналъ торговлю правосудіемъ закономъ природы, — и рѣшительно не вѣритъ въ честныхъ чиновниковъ. Въ безкорыстіи начальства онъ видитъ сугубый подвигъ: «если съ него не взять, такъ онъ опасается»,—говоритъ московскій философъ. Черта—замѣчательная! Она съ особенной силой подчеркнута и Писемскимъ въ романѣ «*Тысяча душъ*»: вся драма Калиновича, какъ общественнаго дѣятеля, создается именно органическимъ недовѣріемъ народа и общества къ его честности и безкорыстной чистотѣ его намѣреній. Цѣлыми вѣками обыватель привыкалъ только къ ябедѣ и кривдѣ,—гдѣ же ему постигнуть гражданина въ мундирѣ чиновника! И онъ готовъ предположить все, что̀ угодно, — только не безкорыстіе и неподкупность.

XIX.

Ясно, темное и жестокое упорство самодуровъ неуклонно воспитывается преступнымъ міромъ «властныхъ лицъ». Но кончается ли и здѣсь цѣпь великая? Послушайте интеллигентнаго и безобиднѣйшаго чиновника, ставшаго взяточникомъ. Рѣчь его не требуетъ никакихъ поясненій: она внушительна и проста, какъ непосредственная правда жизни.

«У насъ, говоритъ онъ, вѣдь не изъ жалованья служатъ. Самое большое жалованье 15 рублей въ мѣсяцъ. У насъ штату нѣтъ, по трудамъ и заслугамъ получаемъ; въ прошломъ году получалъ я 4 рубля въ мѣсяцъ, а нынче три съ полтиной положили... Кабы не дѣлежка—нечѣмъ бы и жить».

Дѣлежка значитъ взятки, набранныя за недѣлю столоначальникомъ на всю братію...

Конечно,—не всѣ взяточники служатъ внѣ штата,—но мы изъ *біографіи самого* Островскаго знаемъ чего стоили штаты? Извольте

послѣ этого бросить камнемъ въ Кисельникова, въ Жадова или даже въ Бѣлогубова! А между тѣмъ, не слѣдуетъ забывать, что обывателю приходится имѣть дѣло преимущественно съ канцелярской мелкотой, чаще всего съ Беневоленскими и Васютиными—дѣльцами — «не взыскательными» и всегда готовыми выпить съ ними.

Мы видимъ, какъ широко, какъ неограниченно темное царство. И оно упорно защищаетъ свои права на существованіе. Здѣсь опять неразрывная связь между дикарями Замоскворѣчья и героями канцелярскихъ потемокъ. Юсовъ—заслуженный чиновникъ—чувствуетъ органическую и принципальную вражду къ «нынѣшнимъ образованнымъ». Онъ безусловно за изгнанниковъ уѣзднаго училища и низшихъ классовъ семинаріи. Они «почтительные» и «подобострастные», и вдова коллежскаго ассесора одобряетъ молодого человѣка за то, что у него «этакое какое-то пріятное ласкательство къ начальству».

Таковы вкусы интеллигентнаго класса, съ которымъ купцы сталкиваются ежедневно. Но и выше — порядки мало чѣмъ разнятся. Госпожа Уланбекова до глубины души презираетъ чиновниковъ,—и, конечно, мѣщанъ и купцовъ,—но ея отношенія къ «воспитанницамъ» даже безсердечнѣе семейныхъ подвиговъ Кита Китыча, и знатная крѣпостница даетъ своимъ жертвамъ тѣ же самодурскія поученія,—только еще болѣе дикія и жестокія.

Что касается ума и просвѣщенія — взгляды темнаго царства извѣстны. Эта страна, гдѣ, по словамъ Досужева, «люди твердо увѣрены, что земля стоитъ на трехъ рыбахъ и что, по послѣднимъ извѣстіямъ, кажется, одна начинаетъ шевелиться: значитъ, плохо дѣло; гдѣ заболѣваютъ отъ дурного глаза, а лечатся симпатіями, гдѣ есть свои астрономы, которые наблюдаютъ за кометами и разсматриваютъ двухъ человѣкъ на лунѣ, гдѣ своя политика и тоже получаются депеши, но толпа все больше изъ Бѣлой Арапіи и странъ, къ ней прилежащихъ».

Однимъ словомъ, — безпросвѣтный и хаотическій край! И его пророкъ—Иванъ Яковлевичъ, принимающій въ сумасшедшемъ домѣ и отсюда руководящій судьбами матерей и дѣтей темнаго царства. Но поднимитесь выше,—въ лучшій салонъ: госпожа Турусина объяснитъ вамъ, что величайшіе авторитеты для нея — блаженные, юродивые, приживалки и мать Манефа. Просвѣщенная дама горько оплакиваетъ смерть Ивана Яковлича: «при немъ такъ легко и *просто было жить* въ Москвѣ!» И авторъ находитъ возможнымъ *написать цѣлую комедію*—«*На всякаго мудреца довольно* про-

стоты»—для характеристики *интеллигентной* темноты и *барскаго* варварства.

Можно-ли послѣ этого Брусковыхъ считать выродками, неслыханными на русской землѣ уродами? Они только одинъ классъ изъ многочисленнаго общества. Китъ Китычъ — самодуръ и темный человѣкъ съ дѣтьми и женой, но Юсовъ — совершенно такой же деспотъ и мракобѣсъ въ своей канцеляріи, Уланбекова — въ своей усадьбѣ, Турусина въ своемъ салонѣ: вѣдь рѣшаетъ же она вопросъ о замужествѣ своей дочери по указаніямъ Манефы, подкупленной ловкимъ юношей, и Серафима Карповна изъ комедіи «*Не сошлись характерами*» и Настасья Панкратьевна изъ пьесы «*Тяжелые дни*» ничѣмъ не ниже—не выше этой барыни, принимающей у себя сановниковъ.

Очевидно, предъ нами не тьма Замоскворѣчья, а въ полномъ смыслѣ тьма русской земли, тьма неотразимая и разлагающая, тьма, лишь изрѣдка пронизываемая слабыми лучами свѣта. И притомъ — какими! Отнюдь не въ образѣ Катерины. Только благородный идеалистически-настроенный русскій критикъ могъ возвести ее въ лучи свѣта. Въ дѣйствительности, — она только наиболѣе чистая и несчастная жертва тьмы. Темное царство въ *этой* средѣ не создаётъ лучей, а если они и появляются, то съ ними быстро совершается тотъ самый процессъ, какой пережилъ герой *Шутниковъ*—т. е. они доходятъ до полнаго искаженія внутренняго и даже внѣшняго человѣческаго образа. Катерина избѣгаетъ этой участи, кончая самоубійствомъ, но это такая же полная безпомощность въ борьбѣ, такое же тщедушіе нравственнаго міра, какъ у чиновника Обросимова,—пожалуй даже въ сильнѣйшей степени, потому что чиновникъ «ломается» и «коверкается»—ради своей семьи.

Писаревъ разошелся съ Добролюбовымъ въ оцѣнкѣ личности Катерины, — и на этотъ разъ былъ правъ: «личный развитой умъ» дѣйствительно непремѣнный признакъ свѣтлыхъ явленій.

Катерина — только страстный темпераментъ, а не нравственная сила. Ея духовная жизнь загромождена ужасами и видѣніями, навѣянными дикой болтовней странницъ и кликушъ. Она смотритъ на міръ сквозь густой туманъ суевѣрій и предразсудковъ «темнаго царства». Она—законное дѣтище этого царства, и только врожденная страстность мѣшаетъ ей окончательно подчиниться родному самодурству. Страстность Катерины не лишена извѣстной поэтической мечтательности, особенно въ ранней молодости. Но женская *любовная страсть*, если она естественна и искренна, — всегда по-

тична, — что, конечно, вовсе не свидѣтельствуетъ о какой-то исключительной натурѣ и свѣтлой силѣ.

Самъ Добролюбовъ говоритъ: Катерина не думаетъ о сопротивленіи, потому что не имѣетъ достаточно основаній для этого. Совершенно справедливо!

И Катерина не только не противорѣчитъ основамъ темнаго царства, — она даже доказываетъ ихъ непреодолимую силу, и не одной своей смертью, а именно своимъ характеромъ, — чертами, прекрасно обозначенными самимъ критикомъ: «инстинктивностью своей натуры», «боязнью за каждую свою мысль». Можно въ какой угодно степени признавать симпатичность Катерины, — но нѣтъ никакихъ психологическихъ и нравственныхъ основаній утверждать какое-либо вліяніе ея личности на просвѣщеніе темнаго царства.

Оно именно тѣмъ и страшно, что обладаетъ громадной стихійной силой гасить въ своей средѣ всѣ искры и лучи. Такой лучъ, несомнѣнно, Кулигинъ, — но только потому, что онъ не принадлежитъ къ расѣ темныхъ людей, онъ другой породы. Всѣ же исконные граждане самодурской страны — только по особо счастливымъ случайностямъ — не кончаютъ уродствомъ и одичаніемъ. Напримѣръ, Андрей Титычъ. Онъ гораздо свѣтлѣе разумомъ, чѣмъ Катерина, онъ даже жаждетъ ученья, — но тлетворное дыханіе тьмы уже коснулось его: онъ неумолимый врагъ «стрюцкихъ», это въ трезвомъ состояніи, а въ пьяномъ, — признается онъ самъ, — можетъ вполнѣ уподобиться тятенькѣ.

Братъ его, тоже съ человѣческими задатками отъ природы, — является уже безнадежно забитымъ и только кричитъ по-театральному. Вотъ какихъ лучей производитъ темное царство! И Андрей Титычъ совершенно правильно ставитъ дилемму: или сдѣлать что нибудь надъ собой или запить. Настроеніе по существу то самое, какое переживаетъ и Катерина, бросаясь въ рѣку: у Андрея Титыча даже болѣе сознательное и ясное, — но вѣдь не *лучъ* же онъ въ темномъ царствѣ, а просто несчастный, пока еще въ конецъ не изуродованный человѣкъ.

Можно сказать больше, — и всѣ наши герои — точно изуродованные, и мы даже знаемъ, — чѣмъ и какъ. Островскій представилъ всестороннюю картину вѣкового общественнаго недуга. Вдумчивый, безпристрастный мыслящій и художественно-творящій, — *онъ не ставилъ преднамѣренныхъ* цѣлей, — и ихъ незачѣмъ было *ставить. Полнота* умственнаго кругозора и глубина художественнаго *проникновенія* въ дѣйствительность непремѣнно должны при-

вести къ идеямъ — истинно гражданскимъ и просвѣтительнымъ, раскрывая темные факты — этимъ самымъ намѣтить свѣтлые идеалы, выставляя зло и невѣжество въ ихъ естественномъ видѣ, произнести краснорѣчивую защиту въ пользу добра и просвѣщенія. Надо быть только истиннымъ и честнымъ художникомъ! И такимъ былъ Островскій. И онъ вполнѣ послѣдовательно литературную дѣятельность слилъ съ практической во имя все тѣхъ же просвѣтительныхъ цѣлей. *Практика* драматурга извнѣ и наглядно свидѣтельствовала о тѣхъ самыхъ задачахъ, какія заключались въ существѣ и смыслѣ его *творчества* — и Островскій навсегда останется безсмертнымъ образцомъ русскаго національнаго писателя — т. е. художника-дѣятеля, писателя-гражданина.

И онъ самъ вполнѣ точно успѣлъ опредѣлить этотъ образецъ: какъ художникъ онъ, подобно Пушкину, «завѣщалъ искренность, самобытность, завѣщалъ каждому русскому писателю быть русскимъ», какъ гражданинъ онъ требовалъ, чтобы искуство «развивало народное самопознаніе и воспитывало сознательную любовь къ отечеству».

И Островскій умеръ на своемъ посту, до конца храня *завѣтныя убѣжденія, составлявшія его душу.*

КОНЕЦЪ.

3459.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛІОТЕКА
ДЛЯ НАРОДА
В. ЛУНКЕВИЧА.
Изданіе Ф. Павленкова.

1. Земля. Съ 13 рис. Ц. 8 к.
2. Небо и звѣзды. 18 рис. Ц. 8 к.
3. Громъ и молнія. 24 рис. Ц. 12 к.
4. Жизнь въ каплѣ воды. Съ 14 рис. Ц. 8 к.
5. Невидимые друзья и враги людей. Съ 28 рис. Ц. 16 к.
6. Зеленое царство. Съ 32 рис. Ц. 16 к.
7. Бичи земли и чудеса природы. Съ 23 рис. Ц. 16 к.
8. Землетрясенія и огнедышащія горы. Съ 12 рис. Ц. 16 к.
9. Два великихъ царства природы. Съ 93 рис. Ц. 25 к.
10. Великаны и карлики въ царствѣ животныхъ. Съ 37 рис. Ц. 20 к.
11. Какъ идетъ жизнь въ человѣческомъ тѣлѣ? Съ 33 рис. Ц. 16 к.
12. Жилища и постройки животныхъ. Съ 25 рис. Ц. 16 к.
13. Семейная жизнь животныхъ. Съ 28 рис. Ц. 15 к.
14. Общественная жизнь животныхъ. Съ 20 рис. Ц. 12 к.
15. Ростомъ съ ноготокъ, а ума палата. (Жизнь муравьевъ). Съ 12 рис. Ц. 15 к.
16. Обезьяны. Съ 16 рис. Ц. 15 к.
17. Пчелы, осы и термиты. Съ 16 рис. Ц. 18 к.
18. Вода. 52 рис. Ц. 28 к.
19. Подводное царство. Съ 63 рис. Ц. 20 к.
20. Воздухъ. Съ 27 рис. Ц. 15 к.
21. Степь и пустыня. 38 рисун. Ц. 18 к.
22. Тайга и тундра. Съ 23 рис. Ц. 14 к.
23. Среди снѣговъ и вѣчн. льда. Съ 43 рис.
24. Хищники.
25. Четвероногіе слуги человѣка. Съ 30 рис.
26. Враги и друзья человѣка.
27. Животныя кровопійцы и дармоѣды.
28. Растенія-дармоѣды и растенія-хищники.
29. Откуда взялись наши домашнія животныя и растенія.
30. Законъ жизни среди животныхъ и растеній.
31. Исторія происхожденія растеній и животныхъ.
32. Подземное царство.
33. Исторія земли.
34. Каменный уголь.
35. Нефть.
36. Соль.
37. Сокровища горъ.
38. Чудеса науки.
39. Чудеса техники.
40. Чудеса общежитія.

Новое дешевое изданіе **Ф. Павленкова:**

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

(Справочная книга по всѣмъ отраслямъ знанія).

въ одномъ большомъ томѣ, состоящемъ изъ 92 печатаныхъ листовъ: около 3,000 столбцовъ текста, съ 2,224 рисунками (въ томъ числѣ 813 портретовъ) и 37 географическими картами, гравированными въ Парижѣ. Чтобъ дать понятіе объ умѣстительности словаря (до 7 милліоновъ буквъ), скажемъ, что по количеству содержащагося въ немъ матеріала онъ равенъ пяти книжкамъ толстаго журнала, считая объемъ каждой такой книжки въ 30 печатаныхъ листовъ или 480 стран. Особенную пользу словарь Ф. Павленкова могъ-бы принести учителямъ начальныхъ школъ. Цѣна словаря въ переплетѣ—**ТРИ** руб. Пересылка—за 4 фун. Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. В. Луковникова (СПБ. Лештуковъ пер., д.

С.
К.
Н.
С.
а.
О-
Р
е-
п-
г-

335-1399 17.90.

Первая Киевская
№
Библиотека Библиотек

Stanford University Libraries
3 6105 012 085 200

HG
3337
08
2655

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.